

*С этого номера редакция начинает публикацию материалов, посвященных сорокалетнему юбилею журнала, который мы отмечаем в 1996 году*

**СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ**

## **ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ...**

### **ВСТУПЛЕНИЕ**

"Жизнь — не те дни, что прожиты, а те, что запомнились", — записал в своем дневнике Петр Павленко, широко известный в послевоенные годы писатель. Справедливое замечание. Оно поразило меня не только как вывод прожившего большую жизнь человека, но и как предупреждение молодым: помните, дескать, об этом и всегда имейте мужество прервать череду серых пустопорожних дней неординарным, смелым поступком. Кого-то он, может быть, возмутит, а кого-то, наоборот, восхитит, а вам самим — это уж точно — доставит огромное моральное удовлетворение.

Редакционную жизнь серой, однообразной не назовешь: она всегда полна новостей, потому что каждая рукопись, поступившая в редакцию, это новость. Она никого не оставляет равнодушным: одних радует, других, наоборот, огорчает. В этом смысле журнал — самая горячая точка литературной жизни. Да и общественной — тоже: на его страницы выплескиваются самые жгучие проблемы современности.

Но тем не менее и редакционным работникам знакома такая сторона жизни человеческой, как текучка, когда много-много срочных дел и вроде бы все они важны, но... чем-то похожи и не запоминаются.

Я отдал журналу "Наш современник" (в дальнейшем, для краткости, "НС") двадцать один год, причем не как рядовой сотрудник, а как главный редактор. За эти годы число подписчиков выросло с 11 до 335 тысяч, он приобрел много новых друзей, которые раньше о нем и не слыхивали. Им, надеюсь, есть что вспомнить в связи с "НС", особенно — с теми номерами, за которые нас ругали в печати. Эта ругань чаще всего не совпадала с мнением читателей, удивляла их, часто возмущала.

Никогда не писавшие по поводу прочитанного, они брались за перо, спорили, подчас очень умно, с критиками-конъюнктурщиками (сейчас небезынтересно перечитать эти письма, и ниже я это сделаю). Видя, что над журналом сгущаются тучи (а такое бывало — и не раз), наши друзья слали письма в инстанции, часто за многими подписями, защищали "НС". И я пользуюсь случаем поблагодарить их за это. Они не всегда понимали подоплеку травли журнала, хотя порой и догадывались. Думаю, что им любопытно будет узнать о скрытых пружинах тех событий, убедиться, насколько справедливыми и близкими к истине были их догадки.

Понимаю, что своими записками я не смогу удовлетворить интерес каждого: двадцать один год редакторской работы — это 252 номера "толстого" журнала, более двухсот романов и повестей, не считая рассказов, поэм, стихов, очерков, статей — целая библиотека! О каждом номере не расскажешь... Поэтому буду говорить только о том, что запомнилось, что отражало, на мой взгляд, дух времени, литературную и общественно-политическую жизнь 70—80-х годов XX века.

...И все-таки — XX съезд партии (1956 г.) был событием для страны. И немалым! Казалось, что наглухо закупоренные окна и двери общего нашего дома вдруг широко распахнулись, в комнаты ворвался свежий ветер, хорошо их просквозил, наполнил сердца предощущением оттепели — весны...

Вскоре после него собрался и съезд писателей России. Первый! Учредительный! Можно представить, как мы радовались этому. Как дружно проголосовали за б е с п а р - т и й н о г о писателя Леонида Сергеевича Соболева, желая видеть его во главе Союза. С большим вниманием выслушали вдохновенный его доклад: очень понравилась нам идея большей мобильности в работе Союза, идея встречного движения писателей — не только с периферии в Москву, но и из Москвы на периферию, и даже чаще — на периферию. Потом она получила название "секретариата на колесах". Выездные секретариаты, а позже и пленумы стали нормой жизни молодого Союза. А к ним добавились еще и дни литературы и искусства в "братских" союзных республиках. Не жалела партия денег на благородное дело сближения культур народов СССР — это надо признать.

Именно в одну из таких поездок (тогда я жил еще в Вологде) мне посчастливилось близко узнать Леонида Сергеевича Соболева. Угадав во мне фронтовика, он, помню, спросил: "Какое у тебя звание?" "Войну закончил гвардии капитаном, сейчас — майор!" — ответил я. У самого Леонида Сергеевича было звание капитана первого ранга, о чем знали все писатели и в дружеском кругу нередко так его и называли: "товарищ каперанг". А меня Леонид Сергеевич с тех пор часто стал окликать "майором"...

Рассказываю об этом только для того, чтобы хоть немного объяснить читателям резкий поворот в моей судьбе.

...В 1968 году Москва отмечала 100-летие со дня рождения А. М. Горького. Торжественное собрание состоялось во Дворце съездов, в Кремле. После доклада, прочитанного Л. М. Леоновым, правительство устроило для писателей большой прием. Когда все клонилось уже к завершению, в толпе, покидавшей банкетный зал, совершенно случайно я столкнулся — плечом в плечо — с Леонидом Сергеевичем. Заметно навеселе, он протянул мне руку: "О, майор! Хорошо, что встретились: ты мне нужен, — и без всяких вступлений выпалил, как давно решенное для себя: — Пойдешь ко мне секретарем или... редактором журнала "Наш современник". Главным!" — добавил, глянув на меня. Прозвучало это не как предложение, а как приказ: в этот момент он был снова "каперангом". Я, на той же армейской и вдобавок праздничной волне, не дав себе труда задуматься, ответил: "Секретарем не пойду — это не по мне. А что касается главного... Если вы считаете, что я справлюсь — приказывайте! Майор в вашем распоряжении". — "Ну и прекрасно! Жди вызова". — "Куда?" — "В ЦК". — "Но если вы всерьез, Леонид Сергеевич, то я должен сказать, что не все зависит от меня. Я всего полтора года отработал в "Молодой гвардии", только-только получил квартиру и... сами понимаете, не могу так вот... сразу... Совесть не позволит!" — "Это не твоя забота!" — ответил каперанг. И протянул мне руку: — Жди!".

Не придав серьезного значения столь внезапному предложению Леонида Сергеевича, я, заглянув как-то в нашу писательскую контору, все же поинтересовался, чем вызвано столь крутое решение — заменить главного редактора "Нашего современника".

И вот что удалось мне узнать.

"Тощий" ежемесячник "Наш современник", как ни старался, не смог завоевать признание читателей, издавался небольшим по тому времени тиражом — 60 тысяч экземпляров, а подписчиков имел всего 11 тысяч (и то в основном за счет библиотек), весь остальной тираж его распространялся в розницу, через киоски "Союзпечати".

Главным редактором журнала был писатель, и говорили, милый человек Борис Зубавин, заместителем — Анатолий Ференчук, тоже беллетрист. Ориентируясь на невзыскательных читателей (путешествующих и отдыхающих), они печатали много переводных детективов, занимательную хронику, с большой изобретательностью заполняли последние страницы номеров сатирой и юмором...

Среди большинства писателей такая линия журнала не встречала поддержки, заметных публикаций было мало, вследствие чего, видимо, и встал вопрос о его закрытии.

Л. С. Соболев, к тому времени почувствовавший себя хозяином журнального дела в России, воспротивился такому намерению, склонил на свою сторону К. А. Федина — руководителя СП СССР, и вместе они направили в ЦК бумагу с просьбой оставить журнал, поскольку он, как один из немногих печатных органов молодого Союза, нужен писателям России: вон она какая огромная, Россия-то, а журналов раз-два — и обчелся...

Рассказывали, Леонид Сергеевич твердо пообещал на секретариате ЦК, что, если просьба его и Федина будет уважена, он сам (лично!) подберет нового главного, поможет ему укрепить редакцию и редколлегию. Секретари вняли его мольбам. После чего,

видимо, я — выдвигенец Соболева — и был приглашен в отдел культуры ЦК на "смотрины".

Никого из руководителей отдела в лицо я тогда не знал, как и они не знали меня, кроме как по объективке, каковая у них, конечно же, была. Поскольку на предложенную должность я не рвался и мне было абсолютно все равно, чем закончатся "смотрины", в высокие врата Центрального Комитета я вошел, как говорится, с легким сердцем, нисколько не заботясь о том, чтобы "показаться", произвести впечатление... Да и не умел я этого делать...

Позже понял, что и ЦК тоже не проявлял особого интереса к моей персоне. Малосенский журналишко до сих пор ничем себя не проявил ни с точки зрения политики, ни с точки зрения литературы, — и люди, имевшие отношение к журнальному делу, думали, видимо, что он таким и останется, несмотря на смену главного редактора, ибо "чудес на свете не бывает"... Тем более что главным назначался человек "без имени", "без связей" и, что особенно важно, не причастный к групповщине (существовала тогда такая проблема). Одним словом, нейтрал, каким и положено быть вчерашнему провинциалу... И хорошо, что он русский... В данном случае — особенно хорошо! Не будет лишнего повода говорить о "засилии" в журналах и газетах русскоязычных сотрудников...

Принял меня заместитель заведующего отделом культуры ЦК Альберт Андреевич Беляев: у заведующего были дела поважнее... Никаких ЦУ (ценных указаний) от Альберта Андреевича я, конечно, не получил, хотя ждал... Советов, наказов — тоже. Он спросил только, как я отношусь к творчеству Ф. Абрамова, к его романам "Братья и сестры", "Две зимы и три лета". Для того времени это были смелые романы — так тогда именовались честные, правдивые произведения (из ряда "смелых" они легко попадали в ряд "очернительских", "антисоветских", как это было, например, с яшинскими "Рычагами" и "Вологодской свадьбой").

Я сказал, что люблю творчество Федора Абрамова, в том числе и его романы о северной русской деревне в войну и после войны, пафос этих романов полностью разделяю. Вопреки моему ожиданию, Беляев ни словом, ни взглядом не оспорил меня; мне даже показалось, что он сам так же думает о романах Абрамова, хотя, как мне было известно, официальное мнение о них было совсем иное...

Для идеологов ЦК немало значило уже одно то, что фамилия секретаря райкома в этих романах несла вполне определенную смысловую нагрузку — П о д р е з о в. Однако вслух об этом не говорили ни они, ни литературные критики: делали вид, что не придают этому значения — всякие, дескать, фамилии бывают...

...Поняв, что у ЦК (по крайней мере, в лице А. Беляева) возражений против моей кандидатуры нет, я сказал:

— Альберт Андреевич, я дал согласие Соболеву взять журнал... Это верно... Не отказываюсь и сейчас, хотя предвижу огромные трудности, особенно вначале. Я не знаю лично ни одного из нынешних членов редколлегии, не говоря уже о сотрудниках отделов. Поэтому хотел бы получить от вас разрешение на формирование н о в о й редколлегии и, в первую очередь, на выдвижение нового зама. Ференчука я не знаю. Да и не думаю, что мы "состыкуемся" с ним. У него, как и у "главного", было достаточно времени, чтобы показать себя. Увы, не показал. Поэтому мне нужен новый зам. И я буду его искать, хотя и не знаю — где, потому что круг моих знакомых в Москве пока еще очень узок...

— Вот и хорошо! — энергично резюмировал Беляев. И то, как он это сделал, дало мне понять, что моему незнанию и, значит, моей непричастности к групповщине он придает немалое значение... Журнал вне групповщины — тихий, уравновешенный журнал. И значит — вполне управляемый... Большого нельзя было и желать! И Беляев "дал добро" моему намерению заменить редколлегию, подобрать нового зама. Правда, вместе с этим Альберт Андреевич дал мне еще и свои рассказы — разумеется, не для того, чтобы узнать мое мнение о них... Ни сном ни духом не подозревал в нем писателя... Ан нет, грешит, оказалось, а скорее всего — грешил в юности... И вот вспомнил.

Рассказы оказались слабыми. Что делать? Вернуть автору? Но автор-то — кто?.. Отдать на редактуру в отдел? Но что обо мне там подумают?.. Нет, надо браться самому... Вскоре рассказы А. Беляева появились в "НС"... Это было первым моим испытанием на стезе главного редактора. И я его не выдержал, каюсь... Ребятам из издательства "Молодая гвардия", издававшим через полгода эти рассказы книгой, думаю, было уже легче... Но я, кажется, забежал вперед...

## II

...Не помню, сколько дней прошло еще, пока я был представлен коллективу редакции "НС". Знаю только, что тех дней мне вполне хватило, чтобы еще и еще раз обдумать предстоящее вступление в новую, более трудную, а главное — совершенно

самостоятельную должность, когда все решения надо принимать самому и помнить, что любое из них будет окончательным, потому что над тобой нет уже никого, кто бы мог отменить его или скорректировать, подправить, кроме разве цензора... Ну и, разумеется, ЦК.

Итак, главный редактор... Что я знаю об этой одной из самых ключевых фигур живого литературного процесса? Ну, во-первых, то, что от главного зависит — быть или не быть опубликованными новым сочинениям писателей, точнее, увидят они свет или не увидят. И чем значительнее будет произведение по идее и чем острее по содержанию, тем труднее ему, главному, решить: печатать или не печатать? И тут все зависит от того, насколько готов он служить литературе, а не конъюнктуре. Хорошо понимая, что лежащее перед ним произведение цензор может "резать", в лучшем случае изъять из него крамольные, на его взгляд, страницы, смелый редактор все-таки отправит его в набор, поставит в номер, рискуя и журналом (некрасовский "Современник", например, даже закрывался в таких случаях), и своим положением (Твардовский, как известно, был снят с должности главного редактора "Нового мира" за подобные решения, да и не только он). Но есть в этом риске и еще одна пренеприятнейшая перспектива для главного — испортить отношения с автором произведения, если он, главный, согласится все же на предлагаемые цензором изъятия.

Все это в какой-то мере я прошел уже в "Молодой гвардии", будучи заместителем главного, да и сам не раз оказывался в его роли, поскольку нередко случалось так, что сам Никонов, возглавлявший "МГ", когда подписывался очередной номер, в редакции отсутствовал. Мой главный по характеру не был рискован человеком, по крайней мере, так мне казалось. Он в первую очередь заботился о том, чтобы в номере не было "грязи" (его слово), то есть чего-нибудь такого, что могло вызвать недовольство руководства. Да оно и понятно: являясь номенклатурой комсомольского ЦК, он просто обязан был оправдывать оказанное ему доверие (перед этим он редактировал журнал "Смена", тоже комсомольский).

Однако Анатолий Васильевич находил общий язык и в отношениях с писателями: многие искренне симпатизировали ему. В его подчеркнута демократичной манере держаться, в отлично сшитом костюме, в аккуратно повязанном и модном галстуке, в добродушной улыбке было что-то весьма привлекательное и располагающее. Подкупал и его образ мыслей, патристичность, народность, русскость его суждений о литературе. Все это способствовало привлечению в журнал новых авторов, определяло линию журнала.

Другой молодежный журнал, "Юность", тогда только что учрежденный высочайшим повелением в пику "Молодой гвардии", назвал эту линию патриархальной и даже шовинистической, противоречащей "пролетарскому интернационализму" (статья "Заклинание духов"). Но, что самое удивительное, вслед за "Юностью" с этих же позиций обрушил удар на "Молодую гвардию" и "Новый мир" Твардовского. Впрочем, ничего удивительного тут не было, если копнуть поглубже. И я в свое время попытаюсь сделать это.

А пока отмечу, что хорошо подготовленная атака — скажу прямо — русофобских, интернационалистических сил на "Молодую гвардию" увенчалась полной их победой. В 1970 году "дело" "Молодой гвардии" обсуждалось на секретариате ЦК КПСС (с участием самого генсека!), и А. В. Никонов был "вышиблен из седла". Это произошло как раз в ту пору, когда я в "Нашем современнике" только-только начинал.

5 августа 1968 года я был представлен наконец коллективу редакции "НС" в качестве нового главного редактора. Вся церемония и по форме, и по содержанию выглядела столь обыденно, заурядно, что мне не запомнилось ни лицо секретаря Правления СП РСФСР (это был, кажется, покойный ныне В. Панков), ни его речь, если ее можно было таковой назвать. Осталось общее впечатление казенного равнодушия и безразличия к происходящему, ну, а почему — можно было лишь догадываться... Проговорив подходящие для протокола слова, содержащие официальную информацию и абсолютно лишённые каких бы то ни было эмоций, секретарь добавил напоследок: "Желаю удачи!" — и удалился. "Благодарю", — бросил я и опустился на стул, на котором еще вчера, может быть, сидел Б. М. Зубавин — с этого момента бывший главный.

Борис Михайлович не пришел в этот день в редакцию; видимо, считал себя обиженным столь крутым решением... Впрочем, это всего лишь мое предположение... Но если это так, то его можно и понять: именно он начинал этот ежемесячник.

Какими глазами глядели на происходящее сотрудники редакции, меня мало интересовало. Важнее для меня было узнать (и немедленно!), чем каждый из них занят, какие рукописи у них в столах, что и от кого они ждут, какие проблемы (или темы) планируют поднять в разделе публицистики и критики... Из бесед с каждым в отдельности вырисовалась удручающая картина: редакционный портфель пуст, перспективы — никакой, души разъедены ржой безразличия, обывательщины, безыдейности... Да и не удивительно: к литературе большинство из сотрудников не имело никакого отношения...

Нельзя было не ухмыльнуться горестно, не покачать головой, поняв, насколько основательно "подготовилась" редакция к встрече нового редактора: из ящиков было выгребено все, что хоть в какой-то мере могло пригодиться ему на первых порах. Дескать, на, получай!.. А мы посмотрим, чем ты лучше нас... Уже по одному этому можно было представить, как страдали сотрудники редакции в предвидении вторжения "чужого" в их уютное гнездышко.

Итак, встал вопрос: что печатать? Кого из писателей пригласить к сотрудничеству? Я понимал, конечно, что в такой "НС", какой он есть сегодня, уважающие себя писатели, особенно москвичи, рукописи не понесут, а если и понесут, то только такие, которые не удалось пристроить в солидные журналы. Поэтому само собой напрашивалось решение — окликнуть провинциальную Россию.

Кого я там знал? Кого читал и любил? Ну, в первую очередь курянина Евгения Носова, красноярца Виктора Астафьева, краснодарца Анатолия Знаменского (с ними учился на ВЛК\*), знал Виктора Лихоносова, Федора Абрамова, Гавриила Троепольского, помнил о земляках — Василии Белове, Александре Романове, Ольге Фокиной... С робкой надеждой думал о бывших провинциалах, к тому времени уже освоившихся в Москве... Но главная моя надежда была все же на новые открытия: я верил, что Россия не оскудела талантами.

Мое трудное начало усугублялось еще и тем, что объем "НС" был в два с лишним раза меньше "Нового мира", на 112 страниц меньше "Знамени", на 80—90 страниц — "Москвы" и "Октября". При столь малом объеме печатание зарубежных детективов было делом предательским по отношению к пишущей России. Поэтому при первой возможности я решил покончить с подобной практикой. Писатели глубинки, а молодые особенно, думал я, получают за счет этого возможность скорее напечататься в центральном журнале, а главное — они поверят, что такая возможность существует. И рукописи пойдут!

Спросил я как-то тогдашнего директора издательства "Литературная газета", на полиграфической базе которого печатался "НС", найдет ли он бумагу, если журнал наберет подписчиков... ну, этак 90—100 тысяч? Товарищ Медведев улыбнулся моей наивности и со стопроцентной уверенностью проговорил:

— Надежды юношей питают... Больше 20 тысяч подписчиков у "НС" не бывало. И не будет! На сегодня их всего одиннадцать тысяч.

Разговор происходил в конце 1968 года, когда я только что принял журнал.

— А почему тогда вы печатаете "Наш современник" тиражом 60 тысяч экземпляров?

— Только потому, что при меньшем тираже журнал будет убыточным... Слава Богу, киоски "Союзпечати" не отказываются, берут: 30 копеек за номер!

— Ну, а все-таки... не в следующем, допустим, году, а в семидесятом... семьдесят пятом число подписчиков все же возрастет, ну, хотя бы до восьмидесяти тысяч — дадите вы бумагу на этот, возросший тираж?

— Бумагу даю не я. Лимит на бумагу, а также тиражи журналов утверждает ЦК КПСС.

— Да?.. — выдохнул я, удрученный еще одним печальным открытием.

Забегая вперед, скажу, что т. Медведев здорово ошибся насчет подписчиков. Уже в 1970 году "НС" имел их 103 тысячи, но скромно напомнить ему о том разговоре я уже не мог: старого, заслуженного, опытного полиграфиста к тому времени не стало...

### III

Первая яркая страница из биографии "НС", как ни странно, была связана с именем А. Твардовского.

Познакомиться с живым классиком лично мне не посчастливилось, но видеть его, слышать довелось не однажды. Впервые это было на втором Всесоюзном совещании молодых писателей в 1950 году... Все поэтические семинары в тот день были собраны вместе для встречи с "самыми-самыми" в те годы: Михаилом Исаковским и Александром Твардовским. Помню чувства, владевшие мной, когда они оба вышли на сцену и направились к столу. Хотелось встать и вытянуть руки по швам — и не только потому, что я на этом совещании был еще в погонах и в гимнастерке...

...И вот Твардовский в опале. Он вынужден уйти из "Нового мира"... А вскоре к этой новости добавилась и еще одна — намного горестнее: Твардовский тяжело болен.

Однажды, когда разговор снова зашел о его болезни, кто-то (не помню, кто) сказал: "А между прочим, Троепольский закончил новую повесть. Писал он ее для "Нового мира", но, поскольку Твардовского "ушли", он, в знак протеста, публиковать ее в "Новом мире" не хочет. Сам Твардовский его решение одобряет... Может быть, попросить

---

\* ВЛК — Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького.

у Гавриила Николаевича эту повесть?" — "Конечно, попросить!" — почти выкрикнул я: мелькнула надежда заполучить настоящую вещь.

Так началась история с повестью "Белый Бим Черное ухо". Просьба моя, сначала устная, была передана писателю третьим лицом. Определенного ответа он не дал, но и надежды не лишил... И тогда я отважился послать ему письмо. Вместо ответа, совершенно неожиданно для меня, Гавриил Николаевич пришел в редакцию сам.

Поздоровался сдержанно, угрюмовато... Разглядываю гостя: мужик мужиком. Нос картошкой, да еще и бородавка возле него. Лицо небольшое, с крупными складками на щеках, голос глуховатый, но достаточно четкий. Говорит неторопливо, слово за слово — чисто крестьянская манера: спешить некуда, да оно и солиднее так-то, а где солидность — там и достоинство, и даже загадочность... Об этой манере общаться я бы сказал так: не спешить говорить — спешить слушать.

Троепольский при этой, первой, встрече явно хотел слушать, дабы понять — что за человек сидит перед ним, чем он дышит, можно ли иметь с ним дело. Так ведет себя крестьянин, приехавший на базар со своим товаром — зерном там или мясом: пока не обойдет все ряды да не узнает, какие цены сегодня на базаре, — товар свой даже и не покажет...

Не показал своей повести в этот раз и Троепольский: "Надо с Трифоновичем посоветоваться", — буркнул и, встав, пожал мне руку, но уже с более просветленным взглядом, чем вначале.

О чем он советовался с Трифоновичем — я узнал значительно позже, когда повесть была уже напечатана, и мы сошлись с ним ближе, и наши разговоры стали откровеннее, доверительнее. Но... все по порядку, ибо история с "Белым Бимом" была весьма поучительной для меня.

...Прочитав повесть, я понял, что это — настоящая литература! Высокохудожественная и, что немаловажно, увлекательная вещь — будет читаться и старыми и молодыми. Меня не смутило даже то, что автор посвящал ее А. Твардовскому, — еще вчера фрондирующему редактору "Нового мира": "Что тут особенного? — рассуждал я. — Писатель выражает таким вот образом чувства признательности и благодарности за понимание, за поддержку — и не более. "Все понятно, все на русском языке", — как написалось однажды у самого поэта".

Однако цензор (не хочется называть его фамилию) в этом "понятно" "унюхал". (не подберу иного слова) кое-что не совсем понятное, криводумное, скрытое, иносказательное... Тыча пальцем в посвящение, он, явно радуясь своей проницательности, говорил, повернувшись ко мне, почти нараспев: "Не про соба-ачку повесть-то, не про соба-ачку! Твардовского мучеником выставляет уважаемый автор!" Сколько я ни опровергал абсурдность такого предположения, цензор стоял на своем: "Снимайте посвящение!" И это означало: "Номер не подпишу. Можете жаловаться".

Теперь-то я понимаю, почему он столь категоричен был в своем решении: наверняка успел согласовать его с отделом культуры ЦК. А там и слова в похвалу А. Твардовскому не хотели слышать, особенно как бывшему главному редактору "Нового мира". В этом вскоре довелось мне убедиться лично. Помню, через год-два после его кончины мы приняли к печати воспоминания о нем известного писателя, многие годы работавшего рядом с ним. Писатель с большим уважением, даже с преклонением, рассказывал об Александре Трифоновиче и как поэте, и как редакторе. У меня и тени сомнения не было в том, что статья пройдет, и, однако же, цензор остановил ее. "В чем дело?" — спрашиваю в полном недоумении. "Все, что тут есть о Твардовском как о редакторе, придется убирать... Пишите о Твардовском — поэте... Хотя в каждом номере. Пожалуйста!"

Да, здорово насолил кому-то Твардовский-редактор: и после смерти не могли простить.

А с "Белым Бимом" дальше было так. Посвящение сняли. Решили: лучше поступить малым, чем потерять все. Печаталась повесть в двух номерах. Первый, без посвящения, прошел более-менее благополучно... И вот отправлена в Главлитверстка следующего... Самые тревожные дни в жизни главного редактора — ожидание звонка от цензора: что скажет? Подпишет? Не подпишет? Вычеркнет? Не вычеркнет? А может, снимет вообще? Чем тогда заткнуть "дыру"?.. Попад и раз, и два в подобную ситуацию, я потом потребовал от отделов иметь для таких случаев дублиры, то есть другие рукописи, уже отредактированные и набранные, чтобы можно было ими "закрыть пробоину в корпусе корабля". Но в то время дублиров у нас еще не было: мы только-только начинали. И потому я, хотя и не видел серьезного повода для тревоги, звонка от цензора ждал с опаской. И предчувствия не обманули меня. Вторую половину повести цензор принял с еще большим раздражением. А дело было в следующем.

В повести есть некий персонаж по имени (или по кличке) "Серый". Неприятный тип, однозначно. И все бы ничего, но этому типу к подъезду дома, где он живет, по утрам подадут черную "Волгу", его боятся, на него косятся, но "уважают"...

"Ах, черная "Волга" у подъезда?.. Так это же секретарь обкома! — догадался цензор. — Здо-орово! "Серый" — секретарь обкома! Что это, как не дискредитация руководства, как не антипартийный пафос!" — так, примерно, витийствовал цензор, указывая на подчеркнутые строчки в верстке.

— Я не могу убрать все это без согласия автора, — воспротивился я. — А автор в Воронеже. И быстро приехать едва ли сможет: он не молод... И значит, журнал не выйдет в срок...

— Ну, это уж ваша забота, — мило улыбнулся цензор.

— Да, моя. И потому я пойду в ЦК и скажу, что с вашими вычеркиваниями не согласен, — с мальчишеской строптивостью проговорил я.

— Попробуйте... — спокойно отреагировал цензор.

Боже мой, как я был наивен! "Пойду в ЦК!" — пугал я цензора, не ведая, что цензура (Главлит), по сути, — отдел ЦК и работает в тесном контакте с ним, конкретно — с отделами культуры и пропаганды; запреты, изъятия, вычеркивания она согласовывает с ними, чаще с А. Беляевым — заместителем заведующего отделом культуры В. Шауро — и с В. Севруком — заместителем заведующего отделом пропаганды А. Н. Яковлева — будущего "архитектора перестройки", ярого антикоммуниста.

Однако, придя в ЦК, ни к тому, ни к другому я не попал... Куратором "НС" была Н. П. Жильцова — инструктор отдела культуры, человек по характеру добрый, отзывчивый, внимательный — из "комсомольцев", как называли тех, кто до этого работал в ЦК ВЛКСМ. Вот с нее-то, с инструктора, мне, оказывается, и положено было начинать. Вместе перелистали верстку повести, изучили все замечания цензора, в том числе предлагаемые им купюры. Ее они тоже удивили, мягко говоря. Но... сделать что-нибудь, ну, хотя бы позвонить цензору, попытаться уговорить его, она не имела права.

Отчаявшись, я выложил Нине Павловне главное, с чем, собственно, и шел сюда:

— Если номер не будет подписан, я подам в отставку.

Пристально поглядев мне в глаза, она, видимо, поняла, что это не просто слова.

— Ну, зачем же так, Сергей Васильевич... — явно обескураженная таким поворотом дела, проговорила она. — Выйдем на минутку... — Она подхватила со стола верстку, оглянувшись при этом на второго инструктора, имевшего стол в этом же кабинете. Вышли. Она негромко, с оглядкой, сказала: — Подождите меня там... — указала глазами на кресло в холле. — Попытаюсь уговорить кого-нибудь прочитать.

Отсутствовала она довольно долго, а вернувшись, сказала:

— Только ради Бога не проговоритесь, что повесть читали здесь. Позвоните мне завтра. И, пожалуйста, выбросьте это из головы... — Она имела в виду мое заявление об отставке.

А оно-то, как я понял потом, и возымело действие. Для А. Беляева (а верстку на чтение наверняка взял он) было невыгодно доводить дело до "развода" — это квалифицировалось бы как минус в его работе: ведь я был его номенклатурой. "Как же вы подбираете кадры? — сказали бы ему. — Трех лет человек не проработал..."

...Через два дня цензор подписал номер. Не без купюр, конечно, но таких, с какими можно было все же согласиться. Надеюсь, что Гавриил Николаевич где-то поведал об этом более подробно. Я же добавлю к этой истории, пожалуй, только то, что повесть, как я и ожидал, понравилась читателям. Известный кинорежиссер С. Ростоцкий позже снял по ней замечательный фильм. Автор был удостоен Государственной премии СССР. Международную премию "Белому Биму" присудила Италия. Наши издательства — "Художественная литература" и "Детгиз" — выпустили повесть и обычным, и массовым тиражом, и простым, и подарочным изданием. Повесть была признана на тот день лучшей в творчестве Троепольского, а для русской литературы — классикой.

Я предложил Гавриилу Николаевичу войти в редколлегия "НС". Он не отказался. И, несмотря на свои немалые годы, стал приезжать (сам за рулем!) из Воронежа на наши собрания и, как патриарх, пользовался уважением и любовью всех. Выступления его на редколлегиях никогда не были длинными, но зато всегда мудрыми, всегда со ссылками на свой творческий опыт, на авторитет Твардовского, дружба с которым связывала его продолжительное время. Над гробом Твардовского он произнес речь, полную горьких раздумий о судьбе поэта. Опубликовать ее он смог лишь в "НС" — и то спустя годы...

Гавриил Николаевич как никто другой был требователен к языку и стилю произведения. Поучителен для нас был его рассказ о том, как он работал над "Белым Бимом". В окончательном варианте, в том, в каком напечатал повесть "НС", объем ее — 9 авторских листов. А было, рассказывал на редколлегиях Гавриил Николаевич, целых 18! Как он этого добился? А вот так: "Я снова и снова перечитывал уже отшлифованные, казалось бы, страницы и, если находил хотя бы одно слово, которое можно было вычеркнуть без ущерба для смысла, чувствовал себя счастливым". Он даже помнил, где у него в той или иной фразе стояла запятая или двоеточие, и если редактор или корректор ставил другой знак — неукоснительно требовал восстановить, как было.

...А советовался с Твардовским он по одному вопросу: в какой журнал, если не в "Новый мир", отдать повесть?..

Болезнь Александра Трифоновича быстро прогрессировала, рассказывал Троепольский, — и к тому дню он уже с огромным усилием выговаривал нужные слова. И когда "Гаврюша" (так называл Троепольского А. Т.) сообщил ему о своем намерении отдать "Белого Бима" в "НС", Твардовский поначалу кивнул, что означало "да, да", а потом выговорил-таки: "...там бьется, кажется, живой родничок".

Признаюсь, мне было лестно услышать это...

#### IV

— К вам двое молодых людей из Иркутска, — доложила секретарша, войдя в мой "кабинет". Беру в кавычки слово "кабинет", так как одну из двух комнат, занимаемых редакцией в здании Правления СП РСФСР на Софийской набережной, назвать "кабинетом" можно было лишь условно: в ней кроме меня работали еще и зам, и ответственный секретарь.

Вошли, представились: "Шугаев", "Распутин". "Так вот ты какой, Распутин, — подумал я, приглядываясь ко второму. — Сколько же тебе лет?.. 25, поди-ка, не больше" (на самом деле ему тогда было уже тридцать). О его повести "Деньги для Марии", опубликованной журналом "Сибирские огни", в Москве уже говорили, даже писали. Удалось прочесть ее и мне, и поэтому я чаще бросал взгляд все-таки на него, чем на Шугаева. Именно бросал, так как долгого, пристального взгляда, встретившись с его глазами, выдержать было невозможно: такие они у него говорящие, что ли, проникающие. Необычным было и лицо — с какой-то сибирской особенностью: черные волосы, черные брови... В общем, запоминающееся, характерное лицо, резко контрастирующее со смуглым, очень подвижным, самоуверенным, но тоже красивым лицом Шугаева.

— Мы вам принесли повесть, — сказал Шугаев, доставая из портфеля рукопись.

Взял, глянул на титул: "Валентин Распутин. Вячеслав Шугаев. Нечаянные хлопоты. Повесть".

— Это как? В соавторстве? — спросил. Меня не порадовало соседство двух имен на рукописи: "бригадный метод" в литературном творчестве я не признавал, хотя знал, что было и такое... — Любопытно... — добавил без особого энтузиазма. — Ну что же, буду читать...

Через два дня соавторы снова сидели передо мной.

— По теме, — сказал я, — повесть нас устраивает: молодежь на строительстве Усть-Илимской ГЭС. "Наш современник", как никакой другой журнал, должен запечатлевать современность, название обязывает. И с этой стороны все в порядке... Боялся я другого — разностильности. Ведь человек — это стиль. Два человека — два стиля... Не знаю, которого из вас заслуга, но резких перепадов в письме, в интонации я не почувствовал. И характеры тоже довольно определенные... Будем печатать!

Молодые сибиряки, конечно, обрадовались: как-никак, первая публикация в столичном журнале! Я тоже был в приподнятом настроении. Парни явно талантливые, думал я. А главное, из самой российской, даже сибирской глубинки. По большому счету можно было и отказаться от их сочинения, если бы... если бы я не поставил перед собой цель: искать таланты, помогать им и словом и делом, привязывать их к журналу, собирать в "могучую кучку", способную обратить на себя внимание, стать фактом литературной и общественной жизни. Я был уверен, что эта публикация — всего лишь аванс молодым, и он будет оплачен!

Повесть появилась в № 5 за 1969 год. Через год в 7-й и 8-й книжках "НС" мы печатали уже новую повесть Валентина Распутина "Последний срок", блестяще подтвердившую необыкновенную одаренность автора. Это был уже наш собственный "овощ", выращенный не в чужом огороде. И какой "овощ"! Заглядение! В таком именно духе отзывались о повести и читатели, и критики. Имея в виду большую литературу, критики в один голос отмечали: в нашем полку прибыло!

Кто из пишущих не знает, как окрыляет, вдохновляет, придает уверенности перу доброжелательность критики. Для молодого писателя такая критика, как майский дождь для яровых посевов. В. Распутин в полной мере испытал благодатную силу такого дождя. И на его литературном поле проросли дружные всходы. В номерах 10 и 11 "НС" за 1974 год появилась новая, третья в его творческой биографии повесть "Живи и помни", драматизм и глубокий психологизм которой буквально покорили читателей.

История, о которой решился (именно решился!) рассказать в ней Валентин Распутин, не была популярной в литературе в те годы, да и не могла быть: страна приближалась к знаменательной дате, утвердившейся в сознании народа как великий праздник, — 30-летию Победы в Отечественной войне 1941—45 годов.



Всякий знал, конечно, что за четыре кровавых и огненных года было разное — и на фронте, и в тылу: в первую очередь, конечно, — героическое, свидетельствовавшее о величии народного духа (и об этом уже написаны тома), но... было и другое: горькие поражения, предательство и измена, плен... Наконец, просто шкурничество, попрание всех норм морали со ссылкой на родившуюся тогда же поговорку: "Война все спишет". Но, увы, война никому и ничего не списала: война — войной, а совесть — совестью... И тем, кто рассчитывал на списание, пришлось потом убедиться, что от закона иногда и можно скрыться, но от совести, от самого себя — никогда.

Для того чтобы понятны были дальнейшие события, связанные с публикацией "Живи и помни", напомним ее содержание. Главный герой повести — вчерашний молодой деревенский мужик в солдатской шинели Андрей Гуськов. Фронтная работа у него — разведка, одна из самых трудных работ на войне. И похоже, справлялся он с нею неплохо. "За три года Гуськову довелось испытать все: и танковые атаки, и ночные лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за "языком", — читаем в повести. И не диво, что Гуськов уже не однажды был ранен, а последний раз — особенно тяжело: грудь пришлось вскрывать. Случилось это летом 1944 года, когда война уже явно приближалась к концу. Лечили Гуськова в Иркутске, от которого до его деревни Атамановки, по фронтовым меркам, было не так уж и далеко. Подумывал иногда написать жене, позвать (всего четыре года успели они пожить вместе), наверняка прилетела бы, да не написал: решил, что после такого ранения на фронт его уже больше не пошлют, и значит — отпустят домой... Но вышло иначе: признали годным к строевой службе, дали направление в часть. Пришел Гуськов на вокзал, а там поездка — и в ту, и в другую сторону, и на войну, и от войны... А уж так хотелось повидаться с женой, показаться родителям. Смалодушничал солдат, сел не на тот поезд... И как-то не сразу понял, а поняв, ужаснулся: он д е з е р т и р! Добрался до деревни, к своей бане прокрался... Ну, а дальше-то что? Объявиться — схватят и, ясно, расстреляют...

Настёна — жена — по некоторым приметам (пропал топор в бане, исчезла оставленная краюха хлеба) догадалась: это — ОН! Осталась в бане на ночь. И — "Горюшко ты мой!" — свиделись... К рассвету — она в избу, в тепло, он в свое логово в заснеженном распадке, у Ангары.

Нет, не радость принес Настёне ее муж, ее Андрей, — великую смуту, незатихающую боль, страх... И потянулись дни ворованной любви, постоянной тревоги. А тут еще и забеременела Настёна. "От кого?" — пытается ее подруга, строит догадки Михеич — отец Андрея.

...Но вот приходит весть: война закончилась. Андрей слышит: из ружей палят в деревне, смеются и плачут... А Настёна как деревянная в этой всеобщей радости — ни смеяться не может, ни плакать. У нее впереди одно — позор объявиться вдовой дезертира (его, конечно же, поймают), матью сына дезертира.

Этого вынести она не могла: черная глубь стремительной Ангары положила конец ее страданиям...

Газета "Красная звезда", вскоре после выхода повести в свет, напечатала резко отрицательную рецензию на нее. Автор — человек военный — возмущался: вместо того чтобы показать настоящего героя, каких миллионы, писатель расписывает нам страдания дезертира и чуть ли не сочувствует ему. Великая драма войны сведена в повести к драме дезертирства. Такие книги не могут послужить нравственному и патристическому воспитанию воинов, они бросают тень на наше святое знамя Победы...

Автор рецензии не увидел (или не хотел увидеть), что драма Андрея Гуськова дана писателем на фоне могучего потока народной (в данном случае — деревенской) жизни, нравственно здоровой и как никогда устойчивой, сцементированной трудовым энтузиазмом, любовью к Родине, жертвенностью во имя ее. На этом фоне дезертирство Гуськова вызывает в душе читателя не только осуждение, но и п р е з р е н и е. Убив в себе Человека, он убил и все живое вокруг себя — жену, отца, мать, еще не родившегося ребенка...

В обстановке, сложившейся после публикации повести Распутина, свое слово должен был сказать секретариат Правления СП РСФСР. Один из главных авторитетов в литературе о войне Ю. В. Бондарев, открывая дискуссию, в первых же словах выразил полное несогласие с оценкой повести рецензентом. Другие секретари безоговорочно поддержали его. Не помню, к сожалению, какими словами. Помню лишь то, что сказал сам: "Будь моя воля, я бы издал повесть "Живи и помни" массовым тиражом и положил в ранец каждому солдату: "Служи и помни!"

Через два года — всего лишь через два! — любимец наших читателей Валентин Григорьевич Распутин выдал "на-гора" свою четвертую по счету повесть "Прощание с Матерой". И она не поколебала установившегося мнения о нем как о большом художнике ни у читателей, ни у литературных критиков: и художественные, и философские, и социальные аспекты ее красноречиво подтверждали это. Зато цензор, к моему удивлению, отнесся к ней с неожиданной подозрительностью — не иначе, вспомнил

"втык", который наверняка был сделан ему в связи с предшествующей публикацией — повестью "Живи и помни", которую (сподобил Бог!) он подписал в печать без всяких придинок.

На сей раз он усмотрел что-то непозволительное, "идейно не выдержанное" в концовке повести: "Мистика какая-то! — возмущался он. — Я не могу с этим согласиться. Убирайте!"

Поистине, подумал я, "пуганая ворона куста боится". Какое, казалось бы, дело цензору до мистики. Ведь это же не призыв к бунту и даже не "антисоветчина" — всего лишь художественный образ, литературный прием.

А слух сказал: "Вы вторгаетесь в художественную ткань произведения, такого права у вас нет!" Не помогло.

Убрать почти полстраницы текста, как требовал цензор, означало испортить повесть, представить ее читателям незавершенной. Попросил позволения убрать "мистику" способом, как мы выражались, "ретушировки", то есть вычеркивания отдельных фраз и слов, с сохранением хотя бы логики мысли: мне ведь предстояло еще с автором объясняться... Сделал ретушировку. Повесть пошла в печать.

Валентин Григорьевич при встрече с пониманием отнесся к моему решению. При издании повести отдельной книгой (через 10 лет!) концовку он восстановил, несколько в иной, но своей редакции...

...Однако секретарю ЦК М. В. Зимянину повесть "Прощание с Матерой" и в такой редакции показалась ущербной, архаичной, не отражающей огромных перемен, произошедших за годы советской власти в Сибири. Не сомневаюсь, что склонить его к такому мнению постарались добровольные консультанты отдела культуры. Однако, понимая, видимо, что такого писателя, как Распутин, бранить за глаза, не заботясь о том, как он отреагирует на эту брань, все-таки некорректно и даже опасно, Михаил Васильевич — редчайший случай! — пригласил писателя-иркутянина для разговора в Москву. И он прилетел. И разговор такой состоялся.

Самое главное, что в нем было, по словам Валентина Григорьевича, это упреки секретаря ЦК ему за то, что Сибирь он показал не такой, какая она есть на самом деле, что он идеализирует патриархальный быт и нравы сибиряков, скептически и даже враждебно смотрит на прогресс. Одним словом, выходило, что секретарь лучше знает Сибирь, чем он, сибиряк Распутин. Разумеется, Валентин Григорьевич не соглашался с доводами Зимянина, возражал ему...

На состоявшемся чуть позже идеологическом совещании Михаил Васильевич распутинской повести уделил главное внимание, процитировал ("для смеха") речения старой сибирячки Дарьи, а в конце доложил собравшимся, что он встречался с писателем, высказал ему свои замечания, но тот, к сожалению, со многими из них не согласился... И потому он готов встретиться с ним еще раз, доспорить...

А между тем повесть "Прощание с Матерой" вместе с предшествующей ей "Живи и помни" Союзом писателей и редколлегией "НС" была уже выдвинута на соискание Государственной премии СССР. Комиссия, видимо, не решилась проигнорировать критику "Матеры" Зимяниным и приняла решение присудить премию за "Живи и помни". Из двух "зол", видимо, решили выбрать меньшее, — так думает об этом сегодня Валентин Распутин.

## V

В мае 1971 года в "НС" принес новые рассказы Василий Шукшин. Семь из них, под общим заголовком "Характеры", мы тут же отправили в набор, и в девятой книжке журнала они предстали перед глазами приятно удивленных наших читателей.

Случилось так, что увидаться лично с Василием Макаровичем и познакомиться в тот раз мне не удалось. Рассказы он принес в мое отсутствие, ну а когда они были прочитаны, уехал из Москвы он: режиссерские и актерские дела его очень часто были сопряжены с разъездами. Таким образом, я не имел возможности спросить: почему он, облаканный Твардовским и неоднократно представленный в "Новом мире" большими подборками рассказов, с новой рукописью пошел все же не туда, а в "НС"? Да, честно сказать, тогда я и не задавался этим вопросом. Но сейчас, когда пришло время вспоминать и анализировать все, что было связано с журналом, я должен все же попытаться найти ответ.

Может быть, талантливейший Шукшин ушел из "Нового мира", как и Троепольский, в знак солидарности с Твардовским? Но ведь у Василия Макаровича, насколько мне известно, не было столь близких, дружеских отношений с ним, как у "Гаврюши"... Не было, и, значит, дело тут все же в чем-то другом...

Шукшин, я думаю, почувствовал, что в "Новом мире" не просто Твардовского не стало — не стало его духа, находившего выражение в пристрастии к русской литературе,

в радости открытия все новых и новых талантов из народа, подкупающих своей смелостью суждений о жизни, знанием народного языка, народных характеров.

Подумав об этом, я еще и еще раз перелистал комплекты "НС" за 1969—1971 годы (до первой публикации шукшинских рассказов). Кого мы успели напечатать за это время? Кроме Трофопольского — это Евгений Носов, Валентин Распутин, Владимир Солоухин, Василий Белов, Сергей Залыгин, Виктор Лихоносов, Константин Воробьев, Василий Федоров, Николай Рубцов, Александр Яшин (из неопубликованного)...

Думаю, что я не преувеличу, если скажу: собранные воедино на страницах одного издания, "выплеснувшиеся" в столь краткий временной промежуток, произведения этих писателей положили начало тому примечательному явлению в советской литературе, которое критики стали именовать "деревенской прозой". На самом деле это была просто русская литература. Настоящая! Подлинная!

Шукшин не мог не видеть этого; не мог не понимать, что компания писателей, мало-помалу собирающаяся в "НС", ему больше подходит, поскольку он полностью разделял ее художественно-эстетические и патриотические устремления, коим в "Новом мире" еще до ухода Твардовского стали открыто противопоставляться идеи интернационалистические (статья А. Дементьева). Впрочем, сейчас я думаю, что по своей глубинной сути "Новый мир" и при других редакторах не был по духу русским журналом, да, пожалуй, и не мог им быть при тех взглядах и традициях, которые блюлись в нем испокон, хотя Солженицын и величал его в пору своей борьбы за выживание "единственным светочем".

В следующих, 1972-м и 1973 годах, Василий Макарович выступил в "НС" с двумя новыми подборками рассказов и ставшей всенародно известной повестью "Калина красная". И опять в блестящем ряду писателей — Ф. Абрамова, Евгения Носова, В. Астафьева, В. Солоухина, В. Рослякова...

...Рукопись киноповести "Калина красная" Василий Макарович вручил-таки лично мне. Попросил прочитать, не откладывая, так как через два-три дня ему снова предстояла очередная киноэкспедиция. Я назначил ему встречу уже на завтра. Он пришел точно в срок. Поздоровавшись, присел у дверей, у края длинного стола заседаний. Настороженный, неулыбчивый (ждал, что я скажу), он показался мне в этот день еще более худым — заморенным, что ли: узкие молодежные джинсы все равно были ему широки, голенища сапог (сознательно, наперекор моде носил сапоги!) просторны, впалые щеки даже без намека румянца. Вижу, он напряжен, догадываюсь — почему, спешу сказать самое главное:

— Киноповесть отличная! Кстати, если бы чуть-чуть беллетризовать начало, можно было бы назвать ее и просто повестью, потому что читается она, как добротная и даже хорошая проза... Будем печатать!

В ответ блеснули его крупные зубы. А я продолжил:

— Но... подмывает меня, Василий Макарович, посоветоваться с Вами насчет финала... Прочитают "Калину красную" или просмотрят тысячи Прокудиных, пока еще не вышедших за тюремные ворота, и подумают: "Не уйти от воровской "малины", не порвать с нею, если даже и захочешь". Плохую службу сослужим мы с вами тем Прокудиным! Мне кажется, наша задача — вселить в их души надежду — и даже веру, что зло не всесильно, что Прокудин, порвавший с бандой, не одинок, на его стороне огромная сила — народ!..

— Наказать банду?... Но как? — заинтересовался моей мыслью Шукшин.

— Вы же деревенский человек, Василий Макарович, и хорошо знаете, что такое сельские дороги. В одном направлении можно и полем проехать, и лесом... Можно по большой дороге махнуть, а можно и по проселочной, напрямик, срезая углы.

— Так... — раздумчиво произнес Василий Макарович. — Стоит подумать...

— Правильно: стоит! — обрадовавшись, что он не отверг мою мысль, откликнулся я. — Но это не все, дорогой Василий Макарович... Я бы очень хотел, чтобы вы стали членом редколлегии нашего журнала!.. Хорошая у нас редколлегия, но в ней не хватает вас.

Сразу посветлев, он ответил:

— Спасибо за приглашение... Но я же почти не бываю в Москве. Все время на съемках и не смогу присутствовать на заседаниях.

— Не беда! Если мы договоримся, что все, написанное вами, будет показано в первую очередь нам, с вас будет вполне достаточно... Возможно, что-то мы не сможем напечатать... Надеюсь, вы понимаете, о чем речь... Тогда уж — что делать — понесете в другой журнал... Согласны?

— Ну, если так, то что же...

— Договорились! — И мы пожали друг другу руки.

Финал "Калины красной" он дописал быстро, еще до отъезда из Москвы. Пригодились впечатления, почерпнутые на Вологодчине. Природа русского северо-запада, старинный уклад жизни вологодских селян полюбились Василию Макаровичу, он привязался к ним душой — да так, что и следующий свой фильм решил снимать

в вологодских краях. Река Шексна, приток Волги, набравшая в наших местах размах и силу в ходе строительства Волго-Балта, вполне могла сойти за саму Волгу, "на простор речной волны" которой "выплывали Стеньки Разина челны". Об этом он сказал моим землякам-белозерам на просмотре фильма "Калина красная". Шексна подсказала ему и финал картины. В двадцати километрах от Белозерска до сих пор существует паромная переправа через нее. Вот тут-то, решил Шукшин, и будет отомщен Прокудин... Как это произошло, рассказывать нет необходимости: прекрасный, новаторский фильм не видел только ленивый или с пустой душой человек... Новаторство его заключалось не только в создании подлинно русских характеров, но и в самой технике постановки фильма — без павильонов и декораций, париков и специально сшитых костюмов — всё на натуре: в тюрьме, в районном доме культуры, в городской гостинице, в вологодской избе...

Все эти новшества Василием Макаровичем были с успехом опробованы в его предшествующем фильме "Печки-лавочки". Уже в нем некоторые характерные сценки из народной жизни играли не актеры, а мужики и бабы из его родного села Сростки на Алтае. А в "Калине красной" в роли матери Прокудина он снял обыкновенную вологодскую старушку. Наверное, какая-нибудь актриса сыграла бы ее и профессиональней, и психологичней, но так натурально, так правдиво, как это вышло у старушки, у нее все равно бы не получилось.

Шукшин как режиссер и как актер своими фильмами "Печки-лавочки" и "Калина красная" показал, что такое русское кино. Все поняли, что его пока нет, но оно может быть — и подтверждением тому эти фильмы. На их фоне — и это тоже поняли многие — поблекло псевдонациональное, а точнее — антинациональное кино, создаваемое на наших, российских, студиях режиссерами-русофобами, кино, в котором что ни русский человек — то тупое пьяное животное, что ни женщина — то сучка, Баба-Яга. Создатели этих фильмов как бы тычут нам в нос "русскими народными" характерами и с сарказмом вопрошают: "И вы зовете поклоняться этому народу? Хлопочете о достойной жизни для него? Да это же не народ, это жители, толпа, люмпены, быдло".

Кто-нибудь из "демократов" скажет: русоненавистническая суть этих фильмов — случайная, частная неудача их создателей... Ну нет, господа! Это уже устоявшаяся традиция, "художественная", нравственная норма. Ее уже подхватили, визжа и улюлюкая (ждали своего часа!), тележурналисты и телеоператоры. Из стотысячной толпы митингующих "красных" они обязательно выхватят пьяного бомжа или изуродованную жизнь старушку...

Вот пример из телепередачи лета 1996 года. Чистенький, отутюженный, парикмахером причесанный и напомаженный кандидат в президенты учит народ э той страны правилам голосования. Скажет фразу — и исчезнет с экрана, а вместо него тут же возникают рожи, хари тех, кого он учит. Их о чем-то спрашивают тележурналисты (за кадром), а они в ответ щерят свои пасти, в большинстве с одним длинным и желтым клыком в верхней челюсти, селятся что-то сказать, но говорить связно не могут, не умеют, только мычат или, в лучшем случае, издают звук, похожий на "и-го-го!" И все...

У господ, с умилением внимавших любимому кандидату в президенты (я наблюдал это), начинали искриться зрачки, когда на экране вместо него появлялись хари аборигенов э той страны. Господа только что не кричали: "Да кого ты учишь, любовь наша и надежда? Этих необразованных пьяных скотов? Да они и птичку-то на бюллетене поставить не сумеют. А если поставят, то спяну да сослепу обязательно за "красного"... Да и в шелку-то бюллетенем не попадут".

А еще подумалось во время это странной передачи: с чего бы это вдруг сам кандидат в президенты взялся читать "инструкцию по выборам..."? Захотелось лишний раз поучить уму-разуму э тот народ? Ну-ну...

Не суждено было Василию Макаровичу долгое время сотрудничать с "НС". Всего лишь одну еще подборку его рассказов успели опубликовать мы после того, как он вошел в редколлегия журнала (№ 4 за 1974 год). А повесть-сказку "До третьих петухов" и неоконченный рассказ "А поутру они проснулись" он уже не увидел напечатанными.

Для всех, кто лично знал Шукшина и кто любил его заочно, смерть его была настолько обидной и несправедливой, настолько неожиданной, что по Москве упорно стали распространяться слухи о ее неестественности. Да и не диво: умер-то он далеко от Москвы, на Дону, где только что закончились съемки фильма "Они сражались за Родину", в котором он, по-шукшински неординарно, сыграл шолоховского русского солдата.

Никто не знал обстоятельств его смерти. Люди спрашивали друг у друга: что показало вскрытие? Было ли оно достаточно профессиональным, добросовестным или чисто формальным? Почему не привезли тело на экспертизу в Москву?.. Где и чем питался писатель, живя на дебаркадере?

А когда вышел "НС" с его повестью-сказкой "До третьих петухов", тревожных слухов стало еще больше. Меня спрашивали: долго ли рукопись находилась в редакции, давал ли кому ее Василий Макарович, кроме нас?..

Об этом могла знать только вдова писателя Лидия Федосеева-Шукшина. При первой же встрече я задал ей этот вопрос, и оказалось, что да, давал... Давал ленинградскому режиссеру Г. Товстоногову: тот обещал якобы поставить сказку в своем театре... Стало ясно, что прочитать ее до публикации в журнале могли многие: театр живет этим... Какие чувства испытывали, о чем думали при чтении те люди — нетрудно догадаться: сказка-то к постановке не была принята...

Интересной, думаю, будет для читателей и история с названием этой повести-сказки... Рукопись ее, как и публиковавшихся ранее рассказов, в редакцию принесла жена Шукшина. Как ни странно, названия у повести не было...

— Василий Макарович думает над названием, — сказала Лидия Николаевна. — Есть варианты, но ни один из них ему не нравится.

Я прочитал рукопись в этот же вечер и, если бы Василий Макарович был в Москве, — честное слово, тут же побежал бы к нему — обнять и расцеловать, как посчастливилось мне сделать это после просмотра фильма "Печки-лавочки"... Но такой возможности у меня не было, и я схватился за перо, чтобы письмом хотя бы поздравить Василия Макаровича с успехом. Не воспроизведу точно, какими словами я выразил свои чувства, но хорошо помню, что они были восторженными. Тут же, под настроение, родились два варианта названия: "До третьих петухов" и "К мудрецу за справкой". Первое название, писал я Василию Макаровичу, на мой взгляд, лучше: редко какая русская сказка обходится без петуха, есть он и в вашей повести. Отсюда — вполне естественно: "До третьих петухов"...

Лидия Николаевна Шукшина рассказывала мне потом, что Василию Макаровичу тоже больше понравился первый вариант — "До третьих петухов".

— А все-таки, какое название было у него на уме? — полюбопытствовал я.

— "Ванька, смотри!" — ответила Лидия Николаевна.

Ну, что ж, подумал я тогда: тоже неплохое название... "Ванька, смотри!" А цензор бы сказал: "Не Ваньку окликает автор — народ! Выходит, кто-то его дурит? Кто?"

Шукшин, по сути, ответил на этот вопрос, хотя ни отвечать на него, ни даже задумываться над таким ответом при советской власти было не принято. Василий Макарович ответил-таки... и оставил без ответов много-много других вопросов.

А впрочем, название "Ванька, смотри!", пожалуй, ничего бы уже не прибавило к тому, что было в повести. И не убавило... Но прохождение ее через цензуру затруднило бы, это точно. Оно выглядело бы слишком откровенным, как говорят в редакциях, любовым. А "До третьих петухов" и красиво, и в стиле русских сказок, и никаких таких поводов для опасных раздумий...

Не было названия и у оставшегося незаконченным рассказа о смешных и в то же время несчастных и жалких — по Шукшину — мужиках, припоминающих в тяжелом похмелье, как они снова "набрались" и оказались в медвытрезвителе. Как-то сразу, сам собой возник заголовок: "А поутру они проснулись..." Пришла на память известная каждому выпивохе песенка "Шумел камыш..."

Каково же было мое удивление, когда я, приехав через какое-то время в Ленинград, увидел на всех главных площадях и улицах аршинными буквами кричащие афиши: "А поутру они проснулись..." Рассказывали, что название сработало на все сто: спектакли шли при постоянном аншлаге.

Интересно, как бы отнесся сам Шукшин к этому названию?..

Но я, кажется, отвлекся... Хотя без того, что припомнилось выше, читателям была бы не совсем понятна логика дальнейших событий, связанных с публикацией "До третьих петухов".

...Итак, народ искренне жалел выдающегося актера и писателя. Каждый видел его живым (на экране), слышал живым, полюбил его, привык к нему, и потому смерть его, да еще в таком-то возрасте, для каждого была личным горем, личной потерей. Поток людей к его могиле на кладбище Новодевичьего монастыря был неиссякаем. Убранная по православному обычаю верующими женщинами, она выделялась среди помпезных памятников-глыб своей сельской простотой: фотопортрет умершего и иконка над холмиком с накинутыми на них льняными домоткаными (значит, старинными) полотенцами с вышитыми на них петушками! Вот-вот, казалось, запоем петушки... третий раз... А еще на могиле были цветы, много цветов с приложенными к ним письмами восхищения и благодарности, и рядом — табуреточка для сменных караульщиц — пожилых женщин, каждая из которых могла быть матерью нашедшему здесь вечный покой достойнейшему сыну России.

Писали о невосполнимой утрате и газеты. В некоторых из них появились целые полосы об умершем — Художнике и Гражданине, о многогранности его дарования: писатель, режиссер, киноактер — все в одном лице.

Вот на этой волне всенародной скорби и печали верстка журнала с повестью-сказкой "До третьих петухов" и легла на стол цензора. Поводов для придирок, конечно, цензор мог найти в ней предостаточно... И проявить надлежащую строгость и принципиаль-

ность, тем более что ему наверняка помнилась история с прохождением не столь уж давнего номера, в котором печаталась повесть Сергея Ермолинского "Пещерный человек". Она привлекла внимание редакции в первую очередь острой нравственной проблемой. О ней знал и говорил народ, но почему-то помалкивали писатели.

Речь в повести шла о тех, кто с началом войны вместо фронта сумел рвануть в обратную сторону, в Среднюю Азию, в Ташкент, и хорошо там устроился. У народа о таких ловкачах сложилась даже поговорка: "Кому война, а кому мать родна!" Главное в ней — неприязнь и даже презрение к тем, кто бесстыдно наживался в войну на народном горе. Михаил Борисович, главный "герой" повести, объясняя свой свехудачливый, как мы теперь бы сказали, бизнес в Ташкенте, цинично говорит: "Чем тяжелее жизнь, тем легче покупаются люди". И он "покупает". И бравирует этим.

В рукописи у "героя" были явно не русские имя и фамилия. Предвидя, что цензор обязательно обратит на это внимание, мы вместе с автором дали ему другое имя (Михаил Борисович), а фамилию убрали совсем: в конце концов, дело не в личности, а в том социальном явлении, которое оно выражает... Но остался под своим именем в повести друг и подельщик Михаила Борисовича, и этого оказалось достаточно, чтобы сыр-бор загорелся...

Помня все это, я не ждал ничего хорошего от предстоящей встречи с цензором. Начнет допытываться: "Вот тут песенка у Василия Макаровича:

Мы возьмем с собой в поход  
На покладистый народ  
Политуру,  
Политуру...

Это кто же — Мы?" — вкрадчиво спросит он. Ну, я, допустим, отвечу: "Черти, которые, подпоив сторожа, проникли в монастырь и выгнали оттуда монахов". — "А кто такие черти? И кто монахи?" — "Как кто? — изображу я недоумение. — Черти и монахи... Ведь сказка же!" — "А как ее можно растолковать, а?" — "Ну, если по-школьному: черти — это наглая и агрессивная сила в обществе. Монахи — беспечные ротозои, смиренные лопухи, не способные к сопротивлению... Черти изгнали их из храма литературы, из монастыря культуры, а они..." — "А они вот что, — подхватит цензор и, взяв верстку, отыщет в ней нужное ему место. — Вот:

— Надо терпеть, — откликнулся совсем ветхий старичок и слабо высморкался. — Укрепиться и терпеть.

— Да что ж терпеть-то?! — воскликнул Иван. — Что терпеть-то?! Надо ж что-то делать!

— Молодой ты, — урезонили его. — Потому и шумишь. Будешь постарше — не будешь шуметь. Што делать? Што тут сделаешь — вишь, сила какая?

— Это нам за грехи наши.

— За грехи, за грехи... Надо терпеть.

— Будем терпеть".

Цензор отложит верстку, скажет: "Только дурак не поймет, что автор смеется над терпением монахов. Он всецело на стороне Ивана, который без лишней дипломатии рубает: "Да что же терпеть-то?... Что терпеть-то? Надо ж что-то делать!" — Оч-чень хорошо!.. Но не смешно, потому что это, извините, не что иное, как призыв к бунту". — "Это не призыв к бунту, — отвечу я, — а удар в колокол с целью разбудить в людях чувство достоинства, чести, уважения самих себя".

Вот так я представлял себе разговор с цензором. Чья возьмет? Посмотрим...

И вот я на Китайском проезде. Усаживаясь напротив цензора, подумал: "Сейчас начнется..." И услышал:

— Тяжелая штукавина — сказочка эта... — цензор взял верстку в руки, покачал ее над столом, будто прикидывая на вес, продолжил: — Сказка ложь, да в ней намек... Снять? — спросил сам себя. — Снять, когда такой бум вокруг имени покойного? Не поймут... Себе, как говорят в таких случаях, будет дороже... Поэтому решили: пусть идет! — Он так и сказал: "решили". И я понял: значит, согласовали...

Услышав это, не сдержался, протянул руку благодетелю: — Спасибо! От имени читателей!.. Вам это зачтется!

Через несколько дней тираж был отпечатан, журнал ушел к подписчикам. Ждем откликов. В первую очередь "Литгазеты". Кто-кто, а она уж не упустит случая ухватить нас за штаны. А то выговорит нам в этаким менторском, уничижительном тоне свои наравоучения, даст "ценные указания" насчет "двух культур", "классового подхода", "пролетарского интернационализма" и т. п. А главное — распутает с марксистских позиций "теоретическую путаницу", коею грешат якобы наши авторы (а значит, и редакция), унизив тем самым журнал в глазах читателей... Ну и наметкнет "верхам" на необходимость поправить "линию" журнала, а может быть, и сделать оргвыводы. Одним словом, "Литературка", возглавляемая Александром Борисовичем Чаковским, не "обделяла" нас вниманием никогда.

А тут — ждем-пождем — и ни звука. По такому-то поводу! Непонятно. Листаем свежие номера "Известий", "Правды", "Комсомольской правды" — ни словца, ни даже полслова... Кто-то из писателей, заглянувших в эти дни к нам, рассказал: был в "Правде", слышал разговор по поводу "Петухов" Шукшина, качают головами, вздыхают: высказался, дескать, Макарыч! Рванул рубаху на груди!..

После всего т а к о г о становилось ясно, что если бы не смерть писателя — греметь громом! Не отмолчалась бы и "Правда": в отношении интернационализма, шовинизма, черносотенства она была заодно с "Литературкой". В ней тоже были люди, которым рост популярности "НС" был явно не по нутру. Не говорю уж об "Известиях"... И удивляться тут нечему: все газеты направлялись с одного пульта. Там подбирались кадры для них, там они и ковались.

Не гнушались столичные газеты и такого "невинного" приема: когда, якобы объективности ради, нужно было положительно отзываться о какой-нибудь новой публикации в "НС", например о повести В. Распутина "Пожар", статью-таки давали, но... "забывали" указать, в каком журнале она напечатана; зато когда рецензировалась какая-нибудь вещь из "Нового мира", "Знамени", "Юности" — название журнала крупно выносилось в подзаголовки статьи. А. Беляев — ретивый исполнитель решений секретариата ЦК по части литературы — этого, конечно, не замечал...

В случае с повестью-сказкой "До третьих петухов" все было бы, конечно, наоборот. Громя ее, газеты бы сто раз ткнули пальцем в журнал "НС", "освежили" бы в памяти читателей все ярлыки, прилепленные к нему за последние годы (не буду их перечислять — они общеизвестны)... А тут, увы, приходилось молчать. Популярность В. М. Шукшина в народе оказалась настолько велика, что его ненавистники (были такие!) сочли самым благоразумным прикусить языки, замолчать неугодное произведение (тоже испытанный прием!). Но ведь молчание порой не менее красноречиво, чем откровенная брань. На сей раз было именно так!

Прошло какое-то время — месяц, два, — в редакцию по нашему приглашению пришел человек, который был последним, с кем общался Шукшин перед смертью, — киноактер Г. Бурков. Наше желание услышать рассказ о том, как в с е э т о произошло, вполне понятно: Шукшин был не только одним из самых уважаемых наших авторов, но и членом редколлегии. Не знаю, в каких отношениях с Г. Бурковым был Василий Макарович на тот день — то ли в чисто профессиональных, то ли в дружеских, когда никаких тайн и недомолвок и все, как говорится, пополам. Известно было лишь одно: Шукшин ценил талант Буркова, давал ему в своих фильмах важные роли...

И вот что рассказал коллективу редакции Г. Бурков (пишу, как запомнил):

— На дебаркадере мы жили отдельно, каждый в своей каюте. В этот, последний вечер, как, впрочем, и всегда, мы допоздна стояли на палубе, у бортовых перил, курили, потом пили кофе — каюты позволяли такую роскошь... Василий много говорил о предстоящих съемках фильма о Стеньке Разине — сценарий у него был уже готов — и, конечно, о своих литературных делах, как всегда, с горечью, с сожалением, что времени на писание не хватает, а сюжетов, замыслов полным-полно. Нервничал. Однажды, это было после встречи с Солоховым, сказал — почти как решенное: с кинематографом буду кончать, займусь литературой, и только литературой...

Недоброжелатели Шукшина распространяют сплетни: мол, пил много, потому и... Свидетельствую: это неправда. В молодости, во время учебы во ВГИКе, да, было... А кто не выпивал? Выпивал и Вася, но давным-давно, как говорится, завязал. Иначе откуда взялась бы его потрясающая работоспособность!.. Вот курил — да, много. И кофе любил: верил — взбадривает...

Разошлись по каютам поздно. Утром, проснувшись, я бросил на плечо полотенце и пошел умыться — это в корме дебаркадера. Прохожу мимо каюты Макарыча — вижу, дверь не закрыта, щелка такая небольшая... Не утерпел, просунул голову: может, встал Вася... Нет, он еще спал. Не стал будить: пусть, думаю, поспит, пока я умоюсь, побреюсь. Прошло, может, с полчаса. Иду обратно, опять приоткрываю дверь: спит! Решил разбудить: "Вася, пора!" Крикнул довольно громко, а он... даже не пошевелился! Подошел, тронул за плечо и... Боже мой! Вася был мертв...

Какими словами передавал Бурков свое потрясение, я точно уже не припомню. Зато хорошо помню недоумение, овладевшее мною в тот момент: неужели так вот, не вскрикнув, не попытавшись встать или хотя бы протянуть руку за лекарством, может умереть человек при сердечной недостаточности? Будь то приступ стенокардии или даже инфаркт?.. Ведь это же, кроме всего прочего, боль... И, как рассказывал мне поэт Владимир Туркин, острая: у него был инфаркт...

Говорят-то — говорят... Но Василий Макарович Шукшин, по свидетельству Г. Буркова, умер т а к... В своих воспоминаниях, опубликованных в журнале "Молодая гвардия", актер несколько иначе поведал о трагической кончине друга. Где он был более точен — сказать трудно... Добавлю только — опять же со слов Г. Буркова, — на сердце Василий Макарович не жаловался. Никогда...

Трудно привыкала интернациональная Москва к появлению на ее литературном поле строптивого стригунка — журнала с отчетливо выраженным русским национальным характером. Ю. Нагибин, один из двух членов старой редколлегии, включенных мною в состав новой, и имевший, таким образом, возможность сравнивать, в последнем своем, предсмертном сочинении засвидетельствовал:

"В редакции царил истинно русский дух. "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет", — это о "Нашем сотрапезнике". (Так он назвал наш журнал — насмешливо, презрительно — за ненавистный, видимо, ему "русский дух". — С. В.)

Признаюсь, для меня "открытие" Юрия Марковича звучит несколько странно, если не сказать — смешно. Со стороны, конечно, виднее, но сам я, да и вся редакция тоже, даже не задумывались (ни на секунду!), какой дух царит у нас. Мы жили естественной для русских людей жизнью, никому не подыгрывали, ни перед кем не заискивали, а уж перед "интернационалистами" — тем более, и это Нагбину казалось удивительным, резко пахнущим не обычным, космополитическим, для большинства московских редакций духом, а именно — русским.

Такой феномен был для литераторов Москвы неприятным, если не сказать, раздражающим и даже вызывающим... Проморгали литературные боссы, а вместе с ними и партийные функционеры, скачок повзрослевшего стригунка в сторону от установившихся правил и канонов. А проморгали только потому, что от самого зарождения не принимали "НС" всерьез, не верили в его возможности: мол, был на задворках литературы безликий и тихий журналичко — таким и останется. И какая разница, кто там из аборигенов будет копошиться в его редакции, в его редколлегии... Пусть существует — для счета, для колера, для политики...

Для меня сама собой разумеющейся была мысль, что "НС", издающийся в русской столице, на русском языке, имеет право — да нет, не просто имеет право, — должен быть именно русским, патристическим по духу и направлению журналом.

Г. А. Бровман, бывший членом старой редколлегии, выступая в Литературном институте, заявил по этому поводу: "Ну что ж, считайте, что одним лапотным журналом в Москве будет больше!" Григорий Абрамович не страдал излишней скромностью. Он искренне полагал, что если в редколлегии не будет его — корифея интернациональной критической мысли, журнал пропадет, члены редколлегии начнут лапти плести и этими лаптями щи хлебать... Этакое мессианское самомнение! С его подачи обиженные члены старой редколлегии сочинили коллективный донос в ЦК: "Новый редактор действует, как маленький диктатор, — писали "старики". — Он разогнал всю редколлегию, состоявшую из ветеранов партии — бывших правдивов".

Мне показали этот "донос". "И что же?" — спросил я, готовясь защищаться. "Ничего... Для сведения", — был ответ. А. Беляев помнил, видимо, о нашей договоренности.

Станным и неожиданным был в это же время выпад в мою сторону еще и В. Астафьева. На заседаниях редколлегии Виктор Петрович неизменно садился рядом с Нагибиным. Мне нравилась обстоятельность его суждений о произведениях, напечатанных в очередном номере журнала, уважал я мнение и Ю. Нагбина. Но они и сами не стеснялись в похвалах друг друга: о рассказах Нагбина всегда восторженно говорил Астафьев, а о его публикациях на столь же высокой ноте — Нагибин, и это свидетельствовало, как мне казалось, об их бескорыстной дружбе.

И вот на очередной редколлегии (а было это в самом начале 1970 года) разговаривавший Виктор Петрович неожиданно для всех (кроме, кажется, Нагбина), "щелкнув переключателем", ни с того ни с сего повел речь... об антисемитизме. "Если я увижу, — говорил он, — что журнал хоть в чем-то проявит антисемитские настроения, я выйду из редколлегии" (цитирую по памяти и, естественно, не дословно, но смысл его высказывания был именно таким: я выйду из редколлегии, если...). Ошарашенный столь неожиданным заявлением, я спросил оратора: "Виктор Петрович, какой повод дал я тебе для такого ультиматума? Конкретно?" Не глядя на меня, он ответил, что пока говорил "вообще", без повода, но сказал то, что считал нужным сказать... Для меня, да и для всех, кому я поведал об этом эпизоде, было ясно, что Астафьев на этой редколлегии просто "озвучил" предупреждение новому главному редактору... От кого? Не от Юрия Марковича, думаю: этот должен был только подтвердить где-то, что предупреждение Викулову сделано.

Сейчас, анализируя тот случай, я прихожу к выводу, что интернациональное большинство в Московской писательской организации (более 70 процентов — по утверждению компетентных людей) не было уверено в том, что "НС", как трамвай, покатится и дальше по давно проложенной колее и будет для этого большинства таким же "своим", как, например, "Юность", "Новый мир", "Знамя", "Литературная газета"... Да и теоретические журналы — "Вопросы литературы", "Литературное обозрение" — тоже.



И тревожились они не напрасно: "НС" действительно сошел с рельсов, да и колеса заменил, его звала другая дорога, которая вела в глубь России. Я, вчерашний провинциал, хорошо знал униженное положение писателей, работающих в провинции. Их удел — маломощные кустовые издательства, мизерные тиражи, нищенские гонорары. Им значительно труднее напечататься в столичных журналах... А между тем без них, писателей глубинки, многих проблем, коими живет Россия, считал я, журналу просто не поднять. Мы же поставили перед собой именно такую задачу — видеть всю Россию, различать среди множества проблем главные, обсуждать их на страницах журнала, будоражить совесть современников — помогать им изживать в себе б е с п е ч н о с т ь... Отсюда ясно, говорил я на редколлегии, — "НС" должен стать родным домом для писателей с периферии. И к черту всякую переводную детективную дребедень — чтиво для безмозглых обывателей. Журнальная площадь русского журнала — для русских писателей, прибавляющих славы русской литературе, любящих Россию, борющихся за нее. И мы еще посмотрим, чья возьмет!

Решили мы печатать и представителей национальных литератур, но только в их вершинных достижениях, без всяких скидок на молодость той или иной литературы.

Главной же заботой нашей (повторюсь) должна быть и будет русская литература. Кстати, уже тогда мы отличали ее от русскоязычной. Кое-кто из читателей, предвижу, надуется: это что еще за "русскоязычная" литература? Есть одна литература: русская! И наверняка добавит: ясно, в кого Викулов метит... Что это, как не шовинистический выпад?!

А почему, собственно, "выпад"? Слово-то "русскоязычный" (ная-ные-ное) не я ввел в обиход — телевидение опять же, радио... Ну, а уж коли 25 миллионов русских (по европейским меркам — население немалого государства!), оставшихся в результате разгрома СССР почти на положении пленных в зарубежье, телевидение с благословения его хозяев перекрестило в русскоязычных, то почему бы не употребить слово это по отношению и к литературе, являющейся действительно русскоязычной. Ведь если писатель сменил свою корневую фамилию на русскую, это не значит, что он стал русским писателем. Потому как, чтобы стать русским писателем, надо не только уметь писать по-русски — надо мыслить по-русски, чувствовать по-русски, молиться по-русски; по-русски любить не эту, а свою страну, обладать подлинным, о р г а н и ч н ы м, о д у х о т в о р я ю щ и м патриотическим чувством, а не тем, каким обладает кошка Окуджава.

Русскоязычный поэт никогда не сможет стать Некрасовым, например, или Есениным, или Твардовским... Сельвинским — да, Кирсановым — сколько угодно, вплоть до Бродского, но не больше.

Я не против того, чтобы существовала русскоязычная литература, и она существует и имеет своих читателей... И пусть!

Я против настойчивых попыток п о д м е н и т ь русскую литературу русскоязычной. А такая подмена происходит. И уже давно, со времен Л. Авербаха и возглавлявшего его им "красного" РАППа. Подмена не качеством — количеством. Две трети книг, издаваемых писателями-москвичами в советское время, представляли русскоязычную литературу: пером в то время можно было хорошо зарабатывать...

Впрочем, сегодня надо говорить уже не о подмене, а о в ы т е с н е н и и русской литературы (как, впрочем, и русского национального искусства), в ы т а л к и в а н и и ее за двери собственного дома. Ни в издательствах, ни на телевидении ей нет места.

Всеволод Троицкий в статье, очень точно озаглавленной — "Растлители" (газета "Завтра", № 21, май 1996 г.), обозревая буквари и учебники по литературе, а также методические пособия для учителей, изданные в последнее время "демократами", пишет:

"Нет, не могут наши нынешние "радетели" образования воспринимать русскую культуру в целом. Всегда — выборочно. Если поэт XX века — то, конечно же, О. Мандельштам, а затем — Б. Пастернак, а не С. Есенин, Н. Клюев, Н. Заболоцкий, А. Твардовский, Н. Рубцов. Странно как-то. Оговоримся: мы вовсе не против О. Мандельштама. Он, как и Пастернак, хороший поэт, но ни с А. Блоком, ни с В. Маяковским, ни с С. Есениным по художественной значимости он не сравним..."

Справедливый вывод! Общий, так сказать, для обозреваемых книг. А вот конкретный об одной из них, озаглавленной "Литература как предмет эстетического цикла". М. Интерпракс. 1994:

"Посмотрим, пишет обозреватель, на какой литературный материал опираются составители. Здесь рассматриваются тексты Эммы Эфраимовны Мошковской(2), Якова Лазаревича Акима(3), Овсеев Дриза(3), А. Барто(3), П. Барто, В. Хотомской, Л. Е. Керн, А. Гарфа, Е. Благининой(3), А. Милна, Я. Бжехвы, Д. Радовича, Б. Заходера, Т. Белозерова(2), Золтана Зелна, С. Я. Маршака, Доры Габе, Льва Квитко и др. Есть и по 1—2 стихотворения классиков... Но общий фон создают не наши классики — о н и "з а г н а н ы" н а з а д в о р к и (выделено мной. — С. В.). Малоизвестные же и, как правило,

весьма посредственные стихи иных поэтов доминируют. Что это, как не политика!"

Да, политика! Целенаправленная, жесткая... Вдобавок наглая, грубая, оскорбительная для русского человека. Она, похоже, не берет уже в расчет, что русский народ еще существует, что Россия пока еще не колония. Обеспеченная нынешней экономикой, эта политика смела с книжных прилавков русскую литературу — и классическую, и современную, изгнала ее с экранов телевизоров. Уверен, что встречи с русскими писателями-современниками для миллионов телезрителей стали бы настоящим открытием, праздником для души, но... увы.

Правда, кой-кому из писателей аборигенов, преимущественно москвичей, довелось-таки раз-другой сказать несколько фраз в передаче для жителей Подмоскovie, и то будучи заузданными строгим предупреждением редактора передачи: "О политике — ни слова!" И это означало: о политике мы будем говорить с а м и...

Да, знаю, есть на телевидении программа РТР. Что означает эта аббревиатура — тоже знаю. Но расшифровываю ее по-своему: "Русскоязычное телевидение и радио". Ежедневная информационная передача "Вести" в этой программе идет под знаком скачущих в небо голубых кобыл. Не перестаю удивляться: при чем тут кобылы, когда на экране главная общественно-политическая передача России, составленная из информации о жизни народа, о его радостях и печалях (пока, увы, больше о печалях, но все равно...).

Что, у э т о й страны нет никакого другого символа, способного вызвать у зрителя чувство причастности к ее делам, принадлежности к ней, гордости за нее? Есть, конечно. И он, символ этот, обязательно нашел бы место в заголовке передачи, если бы... Ах, да что говорить. Русскоязычное — оно и есть русскоязычное.

И тем не менее, я не против, пусть и оно существует. Но при условии, что параллельно с ним будет существовать и русское телевидение или русский канал — назовите как угодно, наравне с татарским в Казани, с калмыцким в Элисте... Из программы РТР, если это случится, оно возьмет, думаю, одну передачу — "Играй, гармонь", остальное, уверен, наживет своим умом. И первыми в этом нажитом станут передачи о современных русских писателях. К примеру, о блестящей, народной по складу и ладу стиха поэтессе, живущей в Вологде, Ольге Александровне Фокиной, о выдающемся прозаике, тонком стилисте и психологе тургеневского склада куряnine Евгении Ивановиче Носове... Это только для начала. В русской провинции неисчерпаемый кладезь талантов! К сожалению, большей частью они и сегодня еще остаются не востребованными народом. В общей массе народ даже и не подозревает, какими духовными богатствами владеет.

Западные, в основном американские фильмы, густо замешанные на крови и порнографии, фильмы, создававшиеся на их студиях в течение чуть ли не века, русскоязычное телевидение собрало в одну лоханку и опрокинуло ее — чохом! — на голову очумевшего народа.

По глупости, думаете? О, нет... Все "прелести" нашей жизни: заказные убийства, ограбления, перестрелки на улицах Москвы, наркомания, проституция, безудержное пьянство, детская преступность — это всходы ядовитых зерен западной культуры на нашей российской почве, удобренной "демократическими" кинопомоями. Да нет, не всходы уже — плоды. Горькие, ядовитые, тяжелые плоды. Кто-то, видя их, потирает руки от радости: сбылось!..

Чувствую, затянул о телевидении. Прошу извинить... Наболело... Да не так уж и некстати, думаю, разговор этот. Литература и телевидение, как выразился Маяковский (правда, по другому поводу), — "близнецы-братья". Особенно сегодня, когда у писателя нет никакой возможности выйти на массового читателя: тиражи журналов катастрофически упали (10—20 тысяч вместо 300—500 тысяч и даже 1—2 миллионов при советской власти). Издать новое произведение книгой — тоже трудно: нужны деньги. И немалые...

Но вернусь к журналу. Сказанное выше мне нужно было лишь для того, чтобы читатель видел: у новой команды "НС" формировался свой, незаемный взгляд на литературу и искусство, своя патриотическая и гражданская позиция. И это не осталось незамеченным московскими критиками. Вслед за небольшими рецензиями и репликами по поводу некоторых наших публикаций стали появляться обзорные статьи известных литературных критиков. Одной из первых взяла на себя такой труд Зоя Кедрина (красивая фамилия!). Статью ее напечатал журнал "Литературное обозрение" (1974 г.), да и написана она была наверняка по его заказу... И это вполне нормально: прошло уже пять лет, как "НС" начал прокладывать свою дорогу. Срок немалый: было что обозреть, о чем поразмышлять, что зачислить в актив современной литературы. Но...

"Мне хочется поговорить о с л а б о с т я х (выделено мной. — С. В.), п р и с у щ и х "д е р е в е н с к о й п р о з е" "Нашего современника", а она, как уже сказано, преобладает в журнале", — так обозначила цель своего выступления известная критикесса. Чуть выше в статье действительно было сказано: "Русская деревня, пожалуй,

самое излюбленное место действия в прозе "Нашего современника". Сказано не просто для констатации факта, а скорее как упрек: З. Кедрина (да если бы только она!) считала деревню недостойной внимания писателя. Вот город, рабочий класс (гегемон!) — другое дело. Там интернационализм — и никаких тебе вздыханий об истоках, о национальном характере, о патриотизме...

Но вот что примечательно: нацелившись на "слабости" деревенской прозы "НС", Кедрина в ы н у ж д е н а была все же признать, что "...в "Нашем современнике" есть произведения, которые могут служить "подлинным ориентиром прекрасного", и назвала в подтверждение этого признания рассказ Евгения Носова "Шопен, соната № 2", похвально отозвалась и о повести В. Тендрякова "Три мешка сорной пшеницы"...

Уверен, что ей пришлось бы вспомнить об "ориентире прекрасного" и в разговоре о стихах и поэмах, напечатанных за это время в "НС", если бы она не преследовала цель подверстать под "слабости деревенской прозы" журнала и поэзию его: "Здесь частушечный лад стиха и наличие сельского пейзажа, — в откровенно снобистском, уничижительном тоне писала Кедрина, — служат пропуском на страницы журнала даже весьма посредственным стихам". А ниже добавила, что в этих "весьма посредственных стихах" ее беспокоит "тенденция рифмованного умиления патриархальщиной".

Заметьте, не у м и л е н и е (его критикесса не обнаружила), а всего лишь т е н д е н ц и я умиления... Оказывается, и она опасна... И если человек в деревне продолжал осознавать себя русским, придерживался сформировавшихся веками обычаев и нравов своего народа, а то еще и веры, критиками-интернационалистами все это презрительно обзывалось "патриархальщиной", "квасным патриотизмом", а то как-нибудь еще и покрепче...

Вскользь обругав за патриархальщину Ольгу Фокину, чьи стихи отличаются удивительным многоцветьем народного языка, подлинностью народных характеров, литературная дама приступила к подробному и пристрастному разбору поэмы "Черный хлеб" Александра Романова ("НС", № 5 за 1972 год).

Главный герой поэмы — старый колхозник, участник двух войн (в теле его и сейчас еще осколки), умудренный жизнью человек, острот слов и балагур, речью которого — образной, социально и психологически наполненной — восхищается поэт и не может не восхититься любой нормальный русский человек. Но наша критикесса увидела в нем всего лишь "стилизованный сельского мудреца" и не скрывает ухмылки по поводу даваемых им "оценок современной действительности". А ведь, сказать по чести, не ухмыляться бы надо ей, слушая человека из народа, а сопереживать ему, стараясь понять, какие тревоги, заботы, чаяния живут сегодня в его душе. Критикесса цитирует, в частности, такие слова героя поэмы:

Вот у тебя уже ухмылка...  
Но я скажу, а ты внимай:  
Теперь чуть что — на стол бутылка,  
А раньше было — каравай.  
Признай же это, сделай милость,  
И согласишься без обид, —  
Что раньше сердце веселилось,  
А нынче сердце-то болит.

Для чего приводит эти строчки Кедрина? Для того, чтобы сделать потрясающее умозаключение: ага, значит, раньше в деревне все было лучше, чем теперь? Что это, как не проповедь патриархальщины?! Но разве это хочет сказать герой поэмы (и вместе с ним поэт)? Всякий, без предубеждений и предвзятости, человек понимает, что герой поэмы глубоко обеспокоен распространившимся по Руси тяжелым злом, ч е р н о й б е д о й — пьянством. Если бы знала Кедрина, сколько горя, моральных страданий приносит это зло женщинам, детям, сколько трагедий переживает деревня из-за пьянства, сколько она хоронит мужиков, не доживающих даже до пенсии, сколько теряет рабочих рук (в тюрьмах-то сидят не старики, а молодые — едва ли не все по пьянке), если бы она это знала, то у нее просто не повернулся бы язык назвать все это "рифмованным умилением патриархальщиной", "несерьезной позицией героя". А впрочем, уверен: з н а л а... но зажимивалась: это ее не касалось.

А теперь посмотрим, насколько "несерьезна" позиция героя поэмы. Чтобы читатель мог убедиться в злонамеренной предвзятости, лжи и бессовестности критикессы, не поленюсь переписать два отрывка из поэмы. Первый из главы "О войне".

Бывшие солдаты, ветераны войны, в День Победы со всей округи собрались вместе и, как водится, помянули павших. Герой поэмы рассказывает:

Железом дважды я обласкан,  
А это стоит что-нибудь.  
В плечо попало на гражданской,  
А на Отечественной — в грудь.

И далее:

...Как широка Россия наша,  
И в горе, знаешь, как любя!  
Лишь за нее нам было страшно,  
Совсем не страшно за себя.  
Вот потому-то нас и мало...

Остановлюсь, спрошу читателя: можно все это назвать "несерьезной позицией героя"? Для таких, как Кедрина, все можно...

Но далее. Далее, по русскому обычаю, заиграла гармонь...

И зашатались половицы,  
И заскрипели сапоги,  
Как будто годиков по тридцать  
Смахнули с плеч фронтовики.  
Как будто все — еще не деды,  
И все еще у главных дел.  
Вдруг слышим: "Колька, Колька, где ты?!"  
Взглянули: Буков захмелел.  
Он до того сидел без звука.  
Большой, что угол в том дому.  
И, видно, брата вспомнил Буков,  
И стало брата жаль ему.  
Он стол с посудой отодвинул,  
В толпе рукой расчистил путь  
И разогнул сухую спину —  
Все мужики ему по грудь.  
Он инвалид, нога не гнется  
В колене, ходит — что метет.  
А тут, глядим, на пляску рвется  
И ногу вытянул вперед.  
Все расступились. Слышим только,  
Как он, рубаху теребя,  
Кричит одно: "Эх, Колька, Колька!  
А я хоть топну за тебя..."  
И начал топать да кружиться,  
Да на одной-то все ноге.  
Стонало горе в половицах,  
Стонало горе в потолке.  
А та, которая не гнется,  
Нога торчала, словно жердь.  
Смахнул бы все, что подвернется,  
И было больно нам смотреть.  
Ну, а гармонья так играла,  
Так пела — чуть ли не рвалась.  
И хоть народ сидел бывалый,  
Но слезы вышибло из глаз.  
Добро, что бабы не видали...  
Вот что такое, брат, война.  
А ты мне — что-то про медали,  
А ты мне тут — про ордена.

Не знаю, какими глазами читала эту главу московская дама, а я, сам фронтовик, читая и перечитывая ее и пятый, и десятый раз, все чувствовал, как бегает мурашки по спине, и влажнеют глаза, и накатывается в горле ком.

Но еще более пронзительной, проникнутой неизбывной, сыновней любовью к народу, к деревенским женщинам, пережившим войну, кажется мне следующая глава поэмы — "О с м е р т и".

...Ну, вот послушай напоследок  
Про Катерину — так и быть.

Она как будто бы с березы  
Скатилась в мир и век жила.  
И полила ночами слезы —  
Вот и была лицом бела.  
И то сказать: ее хозяин  
Погиб в бою за город Брест.  
И Катерину замуж звали —  
Всем отказала наотрез.  
Свою беду одна бедя,  
Осталась верная себе:  
Откуда ветер ни подует,  
А все равно — в ее избе.

Но никаких от бабы жалоб,  
 И никакого людям зла.  
 Иным и нынче не мешало б  
 Попомнить, как она жила.  
 И вот когда пошел мутиться  
 У Катерины белый свет,  
 Примчалась на дом фельдшерица,  
 А Катерины дома нет.  
 Ну где она? Куда пропала?  
 Искать! (А бабы рвали лен.)  
 Так отыскиали за снопами:  
 В руках со льном сидит в наклон.  
 В себе была. Лишь под глазами  
 Холодное наволоклось.  
 "Вот и пора, — она сказала, —  
 Теперь уж я — ни в сноп, ни в горсть"...  
 Ну, тихо под руки подняли  
 И повели. И шла она  
 В последний раз по травам вялым,  
 С волоткой сорванного льна.

Потрясающая деталь: шла... в последний раз... с волоткой сорванного льна... Такое приходит в стихи только из жизни, только от увиденного.

Волотка льна в этой сцене вдруг вырастает в символ извечного крестьянского труда, который и в смертный час не отпускает от себя старую Катерину, напоминает ей, что не весь еще лен-то вырван и умирать ей, горюхе, не время...

Господи, а когда оно было, такое время у деревенской женщины, — у солдатской вдовы тем более?..

Меня сцена эта особенно взволновала. Может быть, потому, что остро напомнила о смерти другой, из нашей деревни, "Катерины" (звали ее Шурой)... В жаркий полдень июля бабы метали стог. Устали, конечно. Сто раз умылись потом. Но дело-таки завершили. Свалились к подножью стога передохнуть... Шура, перевязывая платок, вдруг вскрикнула: "Ой, бабы, у меня в голове что-то лопнуло!" — и умерла. Мгновенно! Успела сказать-таки: "Что-то лопнуло..."

Именно это! Потому что много-много дней перед этим — и собираясь в поле, и возвращаясь домой — она жила с предощущением, что в голове вот-вот что-то лопнет — так она болела у нее, голова... Городская женщина к доктору пошла бы с этой болью, а они — и Катерина из поэмы, и наша Шура — в поле и в поле...

Но вот и еще детали, психологически удивительно точные и потому необыкновенно трогательные, подкупающие:

...Когда дошли до той березы,  
 Что у ее стоит окна,  
 Остановилась и бесслезно  
 Кору погладила она.  
 И вдруг упала... В дом старуху  
 Уж заносили на руках.  
 Шептала — знать, молитву — глухо,  
 Понять пытались, но — никак.  
 А фельдшерица — ясно дело  
 (Как и в дороге) — вокруг нее.  
 Вдруг Катерина поглядела —  
 Из забытья и в забытье —  
 Так ясно, чисто поглядела,  
 Да так спокойно, что в избе  
 Затихли все оторопело,  
 И стало всем не по себе.  
 А Катерина фельдшерицу  
 Чуть отстранила, а потом  
 Сказала: "Дали бы напиться,  
 С реки"... И сразу ожил дом!

Побежали к речке — тогда они, речки-то глухоманные, были еще чистыми, — поднесли Катерине стакан "живой воды", радуясь, надеясь: а вдруг полегчает?..

...Но руки старые ослабли —  
 Стакан дрожал, и ей на грудь  
 Текли, текли большие капли,  
 Но не давала их стряхнуть.  
 Пускай текут — полегче телу.  
 Вздохнув, откинулась назад  
 И на простенок посмотрела,

А там на снимке — муж-солдат.  
 Я знал его. На снимке вышел  
 Он, будто парень, молодой.  
 И Катерина еле слышно  
 Шептала что-то перед ним.  
 И заревели наши бабы.  
 Она рукой подозвала:  
 "Вон там, в шкафу", — сказала зябло:  
 В глазах уже скопилась мгла.  
 Открыли шкаф. А там, как следно, —  
 Одежды горестный запас.  
 Сама себе наряд последний  
 Заране сшила — знала час.  
 И бабы встали тихо, с краю...  
 Она, березово белая,  
 Вздохнула тихо: "Умираю"...  
 И умерла.

Вот так, отдавая дань мужеству людей деревни, их терпению, жертвенности в этом терпении, поэт в подлинно некрасовской традиции, подлинно народным языком и классически ясным стихом (а не "частушечным", как брехала дама) пишет свою поэму. Но посмотрите, что она "клеит" ему, а पुще журналу, намерившемуся протолкнуться "с суконным рылом в калашный ряд". "Надо ли говорить, что подобные сочинения отнюдь не помогают увидеть ре а л ь н ы е л и ц а (!) современников, ре а л ь н ы е з а б о т ы (!) нынешней деревни".

Каково? Она, выдавшая деревню только на плакатах "Сельхозгиза", оказывается, лучше, чем поэт, сын погибшего на войне тракториста и колхозной доярки, знает "реальное лицо современника", "реальные заботы нынешней деревни".

И далее, снова и снова унижая редакцию и редколлегию неугодного ее единоверцам журнала, намекая читателям на их "суконность" и непрофессионализм, добавляет: "Право, удивительно, что поэма А. Романова оказалась в числе произведений, премированных редакцией".

Не редакцией, Кедрина, а редколлегией, — и тут вы солгали! А во-вторых, ничего удивительного в нашей премии нет. Просто мы с вами с рождения дышим разным воздухом и на мир окружающий смотрим разными глазами. Достойно удивления другое: то, что ваша русофобская "критика", отвечающая целям вашего клана, была возможна (это в те-то времена!) после специального постановления партии "О литературно-художественной критике", справедливо требовавшего от критиков "умения соотносить художественные произведения с реальной действительностью, анализировать в широком контексте социальных, нравственных, идеологических проблем современности", а не захлебываться злобой к журналу, выведившему вас из себя своей русскостью, своей подлинной народностью.

Ю. Нагибин вспомнит об этом через 20 лет в уже упоминавшемся своем сочинении: "И еще я соприкасался с русской идеей, сам глубоко проникаясь ею, в журнале "Наш соотрапезник", ставшем средоточием прекрасной прозы (выделено мной. — С. В.), преимущественно деревенской. Егор Дикулов (таким псевдонимом он награждал меня. — С. В.) в короткий срок вывел журнал в первачи".

С гордостью сообщая далее о своем выходе из редколлегии "НС" после публикации журналом романа Пикуля, злясь на главного редактора, он все же вынужден, в отличие от Кедринной, признать: "Умный и гибкий редактор Дикулов не отказывался от хорошей прозы и на другие темы, что избавляло журнал от зашоренности. И непременно в каждом номере было два-три хороших рассказа".

Все это написано Нагибиным как раз о тех годах, о тех номерах "НС", которые, выполняя задание московской околелитературной камарильи, разнесли в пух и прах Кедрина...

И — что сейчас особенно смешно — отдел культуры ЦК, где бурно делал карьеру, как я уже рассказывал, А. Беляев (после разгрома партии он сразу же оказался в кресле главного редактора газеты "Советская культура"), приказал провести обсуждение статьи З. Кедринной на открытом партсобрании редакции, признать "принципиальную" критику и сделать надлежащий вывод.

Собрание состоялось. В присутствии представителей от отдела культуры ЦК. И все равно лживая, злобная статья в журнале "Лит. обозрение" коммунистами редакции была решительно отвергнута...

Ну, а вывод... Вывод был такой...

Впрочем, сформулировать его лучше, чем это сделал наш прямой предшественник Н. А. Некрасов, два десятка лет (1847—1866 гг.) возглавлявший журнал "Современник", невозможно:

Его преследуют хулы:  
Он ловит звуки одобренья  
Не в сладком ропоте хвалы,  
А в диких криках озлобленья.

## VII

А теперь о том, как отразились события, произошедшие в "Новом мире", на журнале "НС". Не могу не остановиться на этом потому, что судьба "НС" по воле случая тесно переплелась с судьбой "Нового мира", хотя не все из современников это видели и понимали. Да и не так просто было понять, потому что в то время, когда "Новый мир", как большой корабль, получивший несколько серьезных пробоин, уже сильно кренился, "НС" только еще поднимал паруса. У него была поуже палуба, пожизне оснастка, но зато вела его молодая, заново набранная команда, еще не изведавшая ни штормов, ни коварных подводных течений и рифов, и потому безрассудно смелая, а порой даже дерзкая.

Не знали мы и истинного положения на борту "Нового мира", не ведали, что у него в трюмах, как чувствует себя капитан на мостике, что за команда у него, какие отношения с ней... Ходили всякие слухи, но нам было не до того, чтобы вникать в них: мы работали! Мы прокладывали курс своего корабля.

"В феврале 1970 года А. Твардовский подписал столько лет из него выжимаемое "прошу освободить", — сообщает А. Солженицын в своей книге "Бодался теленок с дубом".

И был освобожден...

Уходил он из журнала в уверенности, что сотрудники редакции, любившие и обожавшие его, в знак протеста тоже оставят редакцию. Но жизнь показала, что он здорово переоценивал нравственные качества своих подчиненных. "Любившие" и "обожавшие" его остались на своих местах, легко и очень быстро забыли о нем. Душу поэта грызли обида и тяжелое чувство одиночества. Оно было, по словам А. Солженицына, "...полно горечи всеобщего, как ему ощущалось, предательства. Он годами жертвовал собою для всех, а для него теперь никто не хотел жертвовать".

Вот так...

Мудрый, большой человек был Александр Трифонович, но, как нередко случается среди поэтов, наивный. Бросить с в о й журнал для новомировцев означало — отдать его в ч у ж и е руки. Добровольно! Этого они не могли себе позволить ни при какой погоде. И Александру Трифоновичу пришлось осознать, что "Новый мир" для его сотрудников был дороже дюжины Твардовских; и что он, Твардовский, нужен был им всего лишь как ширма. И теперь они думали лишь об одном: сохранить бы в целостности редакцию, а "ширма" с "обычной слабостью" (так Солженицын назвал склонность Твардовского к запоям) той или иной степени в Москве найдется...

И она вскоре действительно нашлась — даже с еще более устойчивой "слабостью", чем упавшая...

Члены редколлегии (не редакция!), которые, по свидетельству Солженицына, все же ушли из журнала после падения Твардовского, собственно, "...не пожертвовали ничем... но от всех остальных после себя ожесточенно требовали жертв: после нас — выжженная земля! Мы пали — не живите никто и вы! Чтобы скорей и наглядней содрогнулся мир (О, Боже мой! — С. В.) от затушения нашего свечотца: все авторы должны непременно и немедленно уйти из "Нового мира", забравши рукописи; кто поступит иначе — предатель! (а где ж печататься им?)"

Ослепленный "единственным свечотцем", Александр Исаевич не видел ни одного журнала, который мог бы принять на свою палубу "сбежавших" из "Нового мира" писателей, и потому панически восклицал: "А где ж печататься им?"

Сами сбежавшие скорее, чем их полечитель, сообразили, что печататься можно, например, и в "Нашем современнике", и в "Москве", и в "Молодой гвардии". Г. Троепольский выбрал "Наш современник". Его примеру последовали и некоторые другие известные писатели. И последовали не только из чувства солидарности с Твардовским, а еще и потому, на мой взгляд, что с его уходом в "Новом мире" совсем не стало "русского духа", иссякла надежда на взаимопонимание с теми сотрудниками, которые там остались. В результате страницы "Нового мира" буквально затопила переводная (западная) литература вперемишку с русскоязычной.

В "Нашем современнике", в пику ему, стала набирать силу своя, родная литература. Русская! И это не могло не привлечь внимание писателей к нашему журналу.

Солженицын этого не заметил. Для него "Новый мир" по-прежнему оставался "единственным свечотцем", хотя светил он теперь отраженным светом... По крайней мере, до середины 70-х годов.

В драматических тонах описал А. Солженицын "затухание свечки" — то бишь "Нового мира". Не менее ярко поведал и о личных переживаниях в связи с прохождением в "Новом мире" своих произведений (первым был "Один день Ивана Денисовича"), рассказал об огромных психологических и моральных тратах главного редактора, которые тот вынужден был нести ради этих публикаций... И вот что любопытно: в книге ни разу не проскользнула хотя бы нотка сожаления, а может быть, и вины, а не вины — так благодарности Твардовскому за великую жертву, которую он приносил автору "В круге первом", "Ракового корпуса", о т к л ю ч а я с ь еще и по этой причине не на месяцы, а на годы от своего призвания — творить. Автор, увы, принимает все это как должное, как будто А. Твардовский для того только и был рожден, чтобы обнародовать его лагерные сочинения и ввести в литературу открытого им писателя. По себе знаю, как нелегко это было в то время...

Казалось бы, восхищаться надо смелостью и мужеством А. Твардовского-редактора, благоговеть перед ним и, благоговей, прощать ему "обычные" человеческие "слабости", не раздвигать его донага и не выставлять в таком виде перед миллионами читателей, безжалостно руша в их глазах устоявшийся образ П о э т а — гордости народа, совести его. Тем более что свежа была еще его могила...

Ан нет... Снова и снова, со всеми "художественными" подробностями Александр Исаевич описывает поэта в состоянии его "обычной слабости", описывает, глядя на него, как на бакушу, сверху вниз\*. Пусть читатель решит сам, как это называется...

В конце главы, посвященной Твардовскому — главному редактору, Солженицын броско вывел: "Есть много способов убить поэта. Твардовского убили тем, что отняли "Новый мир".

Громкие слова. Но и в них все та же недооценка Твардовского как выдающегося П о э т а. Согласитесь, господин Солженицын, что не редакторство было главным жизненным его призванием. Он был рожден "глаголом жечь сердца людей", и потому не верней ли было бы сказать, что убило его сознание огромных, но необязательных (а часто тщетных) трат и времени, и нервов в ущерб творчеству.

В 1956 году Союз писателей и Центральный Комитет партии предложили поэту возглавить журнал "Октябрь" — он отказался. И записал по этому поводу в своей "рабочей тетради":

"...на посту редактора "Октября" я могу быть заменен так или иначе, но на своем посту, на этом, какой занимаю, — покамест нет. А что *писать я не смогу одновременно с работой по журналу* (выделено мной. — С. В.), который нужно пробудить из небытия, — это несомненно. А сколько уйдет времени на обязательную, но бесплодную тоску заседаний, приемов, чтения плохих вещей..."

Прошло два года, и ему был предложен (вторично, после четырехлетнего перерыва) "Новый мир", и он взял его. И хотя этот журнал не надо было "пробуждать из небытия", — все равно занятость делами и заботами редакции была исключительная. Покрутившись два года в вихре редакторских забот и тревог, он в отчаянии выплеснул в свою заветную тетрадь:

"Отпустите меня, дайте мне собраться с мыслями, которые не живут в суеде внешней повседневности, в "декадах" и "плеядах", в пленумах и секретариатах и т. п. Но уже знаю, что это не так просто — выломаться, вырваться из этого, что нужно дотерпеть до подходящего срока, чтобы из этой мерзлой проруби вырваться, не оставив в ней хвоста с мясом. Задал себе срок — до трехлетия второго захода в "Новый мир", до июня примерно, а там — отпуск и решительное предупреждение: не ждите меня обратно".

Согласен с А. И. Солженицыным: любил Александр Трифонович журнальное дело, но, как видим, и страдал из-за этой любви, сознавая, как мало успевает он в творчестве. Завершив с большим трудом поэму "За далью даль", он, вместо того чтобы радоваться, с грустью записывает: "Страшно подумать, что на нее, в сущности, ушло 10 лет. Я не могу уже бросаться такими кусками! Правда, было и кое-что другое в эти 10 лет, но все же — *это главное, и этого мало*" (выделено мной. — С. В.).

Прошло еще целых десять лет после того, как он вознамерился было "вырваться из мерзлой проруби". Не смог. "Прорубь" не отпустила...

Я не знаю, пришли бы, не пришли в "НС" писатели — авторы "Нового мира", если бы во главе его продолжал оставаться А. Твардовский. Однако склонен думать, что рано или поздно все-таки пришли бы. Но если бы и не случилось этого, "НС" все равно составил бы серьезную конкуренцию "единственному светочу". Плеяда русских писателей, преимущественно выходцев из самых недр народа, красиво и громко вошла в литературу 70—80-х годов, доказав всему миру, что Россия не обеднела талантами, и дело лишь за тем, чтобы предоставить им возможность прорасти, раскрыться. "НС" такую возможность им дал!

---

\* Речь идет о книге "Бодался теленок с дубом".



Приходилось слышать — и не раз — в те годы, что “НС” подхватил знамя разгромленного “Нового мира”. Друзья наши говорили это в похвалу журналу, потому как с любимыми авторами они теперь встречались на страницах “НС”, а не “Нового мира”. Недоброжелатели — наоборот — произносили эти слова как сигнал и предупреждение тем, кто только что вырвал это знамя из рук Твардовского и очень не хотел, чтобы его кто-нибудь подхватывал.

Что это было за знамя, мы особенно хорошо разглядели, когда главный идеолог “Нового мира”, первый зам. Твардовского профессор А. Г. Дементьев, не таясь больше, поднял его на всю вышину флагштока (именно в виду его статью “О традиции и народности” — “Новый мир”, № 4, 1969 г.). Что мы прочли на этом знамени? А вот что: хватит болтовни о патриотизме, об истоках, о национальном своеобразии литературы, и да здравствует пролетарский интернационализм! Идеолога “Нового мира” раздражало, что русские поэты проливают слезы над разрушенными церквушками, воспевают “священные лики икон”, величие народного духа в трагические моменты истории, готовность к самопожертвованию во имя Родины.

В одной из статей “НС”, приуроченных к Дню Победы, писатель О. Михайлов, желая подчеркнуть решающую роль русского народа в разгроме фашистской Германии, процитировал знаменитый тост И. Сталина, произнесенный им на приеме в честь только что отгремевшего на Красной площади Парада Победы. Интернационалисты-единомышленники А. Г. Дементьева — буквально взвились, увидев эту цитату. Что это, как не возрождение культа Сталина? — возмущался Г. Бровман, выступая перед огромной аудиторией в одной из азиатских республик. Не знаю, как аудитория, а мы поняли, что не “возрождение культа” задело за душу оратора, а слова благодарности русскому народу за его “ясный ум и терпение”, за его боевой и трудовой подвиг в годы войны. Не соответствовали эти слова представлению о русском народе интернационалистов Бровмана, Дементьева и иных с ними. Целеустремленно, с тщанием и прилежанием они на протяжении многих лет лепили образ русского человека как раба, быдла, готового согласно кивать, когда кивать вроде бы и не надо, кивать, как мерин Парменка в “Привычном деле” В. Белова. Именно эту черту характера, да еще лень, да пьянство они выпячивали и выпячивают в “героях” произведений русских писателей. Причем делают это с особенным удовольствием.

Новая команда “НС” с самого начала была одержима другой целью: пробуждать в народе национальное сознание, угнетенное тяжелым прессом “пролетарского интернационализма”, а через него — и патриотизм (причем не только советский, как требовали от нас идеологи партии), воспитывать в русских чувство человеческого достоинства, готовность немедленно дать сдачу тем, кто это достоинство унижит или оскорбит.

В отличие от русофобов, сотрудничавших в “Новом мире”, “НС” не глумился над пьяным недугом народа, а обличал, насколько это тогда было возможно, тех, *кто тайно и явно спаивает народ* (статья академика Ф. Г. Углова). В пику им же, обвинявшим народ в присущей ему якобы лени, разболтанности, социальной инертности, “НС” печатал острые статьи своих лучших публицистов — Ивана Васильева, Ивана Синецына, Владимира Ситникова, Георгия Кулагина, требовавших государственных решений по совершенствованию производственных отношений, системы трудового воспитания школьников и молодежи.

Имея в виду все вышесказанное, решительно заявляю: “НС” знамени “Нового мира” не подхватывал и делать с того не собирался. И если бы даже кто-то попытался вложить его в наши руки, мы бы не взяли его. У “НС” было свое знамя, притом совсем другого цвета.

(Продолжение следует)

## ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ...

### VIII

В апреле 1975 года, совершенно неожиданно, иностранная комиссия СП СССР предложила мне поездку во Францию — “в порядке культурного обмена, — было сказано, — сроком на десять дней...” А перед этим еще и посещение в составе делегации (о ней я тоже ничего не знал) знаменитой Ниццы, где должен был состояться международный фестиваль книги. Я, не бывавший до того времени ни в одной капиталистической стране, да, сказать честно, и не хлопотавший об этом из-за чрезвычайной занятости, без раздумий принял предложение. Увидеть Ниццу, Париж... Кто устоит перед таким соблазном!

Но, радуясь такой okazji, я — были мгновения! — и недоумевал: почему для культурного обмена с Францией выбор пал на меня? В правлении общества СССР — Франция я не состоял, ничего из французской литературы в журнале не печатал, и даже никого из писателей, гостивших в нашей стране, в редакции не принимал... Удивляло и то, что никто из сотрудников Инкомиссии словом даже не обмолвился насчет цели моей поездки — например, установления контактов с каким-нибудь журналом или писателем (элементарно же для такого случая!), — нет, не сочли нужным, будто я не в первый раз ехал во Францию, а в двадцатый и в наставлениях не нуждался. Временами было ощущение, что мне выдали не официальную командировку за рубеж, а туристическую путевку: дескать, приедешь, ознакомишься с программой, а потом знай гуляй по Парижу, по его музеям...

Одним словом, ни информации о культурной жизни Франции, ни советов (обычных в таких случаях), как себя вести, если зайдет популярный на Западе разговор о диссидентах, цензуре, антисемитизме в СССР, о Солженицыне, только что выдворенном из СССР... Ну, а я, честно сказать, и не был в претензии к Инкомиссии из-за этого: не хотите — и не надо, напрашиваться не буду.

Быстро приближался назначенный день отъезда делегации. А иностранная комиссия молчала (был и там мой заклятый друг, не сомневаюсь). Звоню, беспокоюсь... Отвечают: заграничный паспорт готов, но нет пока визы... Остается уже неделя до отлета... три дня... день. Визы нет. Нет только для меня (!). И потому на завтра делегация отбыла в Париж, а я остался...

Буквально через день виза мне была выдана. Но я уже и не радовался ей, я возмущался. Как я найду дорогу в Ниццу, не зная языка? Кто меня встретит в Париже, возьмет билет на Ниццу?... Да, положеньице...

И все-таки я полетел. Не стану рассказывать — как, объясняясь только на пальцах, я пересел в Париже с самолета на самолет и добрался-таки до Ниццы! Много было смешного, а больше горького в этом путешествии, в котором мне не могло помочь даже испытаннейшее средство, коим пользовались странствующие предки: “язык до Киева доведет”.

В Ницце, правда, было уже легче. Слова: “фестиваль”, “Советский Союз”, “Москва”, “делегация”, “отель”... — понимали все.

И вот я на месте, если можно считать этим “местом” отель в Ницце, в котором уже обжились и чувствовали себя как дома мои счастливые соотечественники, среди которых знакомым мне был, пожалуй, только Роберт Рождественский (с супругой). Остальные представлялись здесь от московских издательств, и я их знал только по фамилиям.

Не стану рассказывать ни о фестивале, ни о Ницце — это не входит в мою задачу. Скажу только, что из Ниццы я улетел уже вместе с делегацией и в Париже, с помощью своей, московской, переводчицы, без труда отыскал дорогу в министерство культуры Франции, чьим гостем я и должен был стать с этого часа.

Меня расспросили, что я хотел бы увидеть в Париже, во Франции, составили программу моего пребывания, устроили в приличный отель в старом (Латинском) квартале города, и все пошло своим чередом. Сказав, что, поскольку юг Франции,

средиземноморское побережье я уже видел, попросил любезных хозяев предоставить мне возможность полюбоваться севером, побережьем Ламанша, а по пути — посетить хотя бы одно фермерское хозяйство: земля и на ней человек — стержень моих писательских интересов.

Мое желание было удовлетворено. Шофером оказалась женщина, она же — по совместительству — и гид, причем неплохой: вполне сносно говорила по-русски, хорошо знала историю городов на берегу Ламанша...

Путешествовали мы трое суток. В Париж вернулись за два дня до нашего национального праздника — 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наше посольство во Франции в честь праздника, сообщили мне, устраивает большой прием. На следующий день получил приглашение и я. И вот там один из сотрудников посольства сообщил мне, что кроме меня, гостя из Москвы, сегодня находится здесь еще и Илья Глазунов, по случаю его персональной выставки, открывшейся где-то в предместьях Парижа. "Вот это сюрприз!" — обрадовался я. И тут же попросил помочь мне разыскать в этом шумном и пестром собрании Илью Сергеевича. Слава Богу, мы были давно знакомы, доводилось даже бывать в его мастерской, и значит, мне предоставлялась отличная возможность скрасить свое одиночество за рубежом общением с земляком, приятным человеком. Через несколько минут мы уже приветствовали друг друга, обменивались адресами отелей и телефонами. Глазунов гостил в Париже, оказывается, не один — с ним была и супруга. Во Франции они не впервой, неплохо знают Париж, немножко говорят на французском и могут быть при случае и гидами для меня, и толмачами.

На следующий день я приехал к Глазуновым: они обещали мне прогулку по Монмартру, ужин в русском ресторане и, может быть, обзор Парижа с Эйфелевой башни... Первое, что бросилось в глаза, когда я вошел в их номер в отеле, это книги, книги, книги... На подоконниках, на кровати, на столе — книги... И какие! Полное собрание сочинений А. Солженицына — томики карманного формата (на что нельзя было не обратить внимания), отдельным изданием его "Бодался теленок с дубом", мемуары белоэмигрантских авторов... Внимание сразу приковала еще одна книга: "Алексей Дикий. Евреи в СССР". Заметив мое удивление, Илья Сергеевич сказал: "Все это здесь запросто". — "И что же, повезешь в Москву?" — "Повезу, — не колеблясь, как будто речь шла о мешке картошки, ответил Глазунов. И добавил: — Я художник. Я должен знать все".

Нашумевшая книга А. Солженицына "Бодался теленок с дубом" только что вышла здесь, в Париже, я уже знал об этом: она мелькала во всех витринах рядом с большим цветным портретом автора. И мне, естественно, захотелось воспользоваться случаем и если не прочитать, то хотя бы пробежать глазами запрещенную у нас книгу... Глазунов без колебаний выдал мне "Теленка" на две-три ночи, а еще дал Алексея Дикого и два томика — без выбора — из собрания сочинений А. Солженицына... Домой, то есть в свой отель, я вернулся поздно. И тем не менее, улегшись в кровать, взялся за книги: надо же иметь хоть какое-то представление о запрещенной в СССР литературе. Читал часов до трех, пока бороться со сном уже не было больше сил. Да и душа протестовала: "Приехал в Париж книги читать..."

Наибольший интерес вызвал не "Архипелаг ГУЛаг", а именно "Бодался теленок с дубом". Слишком свежи были в памяти события, описанные в книге: последние два-три года перед выдворением писателя из страны. До боли смутила душу глава о Твардовском. В то время он редакторствовал в "Новом мире", прямо-таки истязая себя в своем упорстве напечатать солженицынские романы "В круге первом" и "Раковый корпус", будучи, вдобавок к этому, подвержен, по утверждению Солженицына, "обычной слабости" — то есть часто повторяющимся запоям... Пожалеть бы великого человека в этой "слабости", не устраивать ему моральный стриптиз, дабы не был он унижен в глазах миллионов читателей, не рухнул его возвышенный образ в их сердцах. Всех, кто находился вокруг Твардовского в то время, Солженицын описывает как кроликов, в том числе и самого поэта, который на его глазах волок на Голгофу свой крест.

Через три дня, накануне отъезда из Парижа, я принес книги Глазунову. "Прочитал?" — спросил он. "Кое-что... Кстати, где ты покупал все это?" — "Где — не важно... Тем более что ты их все равно не купишь — дорого... Но вот эту... — он взял книжку А. Дикого, — могу тебе отдать". — "Спасибо. Ее как раз я и не успел просмотреть". — "А как у тебя... с этим?.. Тебя проверяют?" — спросил Глазунов. "Наверное... А тебя?" — "Картинки, как ты знаешь, упаковываются..." — "Понятно".

Так в моем чемодане оказалась книга А. Дикого. К ней присоединилась еще четырехстраничная проповедь настоятеля православной церкви на русском кладбище на окраине Парижа. Ее я купил за гроши в память о посещении этого кладбища (на нем похоронен Бунин!), за компанию с Ильей Сергеевичем.

Из Парижа я улетел один. Глазунов остался: выставка его картин закрывалась позже.

И вот я в Москве, в аэропорту Шереметьево. Стою в зале, где пассажиры получают

свои чемоданы... Все меньше и меньше остается их на конвейерной ленте. Они плавают по кругу в ожидании зазевавшихся где-то пассажиров. А моего чемодана среди них нет и нет. Что за черт? Не выпал же он из самолета... А может, украли? Подождав еще минуту-другую, пошел заявить о пропаже... И что же я услышал в ответ? "Не волнуйтесь. Ваш чемодан, скорее всего, ушел с другим рейсом... Бывает... Позвоните завтра. Вот телефон".

Поверил. Спокойненько поехал домой, тем более что ничего стоящего в чемодане не было: на те деньги, которые были у меня, не разбежишься... Звоню на другой день в аэропорт — слышу: "Ваш чемодан еще не прибыл". Ну, не прибыл — так не прибыл... Звоню на третий день — ответ тот же. Тут уж я возмущился: "Вот это аэропорт! Вот это фирма!"

Наконец на четвертый день обрадовали: "Можете получить ваш чемодан". — "Куда явиться?" — "В таможенное отделение".

Приезжаю. Захожу... За столом — молоденький офицер и женщина в халате кладовщицы.

"Вот ваш чемодан, — кивнул в угол офицер. — А вот книги, которые вы незаконно ввезли в страну". — "Почему незаконно? Я — главный редактор журнала. Я должен знать все, — ответил я словами Глазунова. — В том числе и это — "Евреи в СССР". Попадется книга "Русские в Израиле" — я и ее ввезу... А что касается проповеди..." Офицер меня перебил: "Ее мы тоже конфискуем... Распишитесь", — и пододвинул ко мне бумагу. "Пожалуйста", — безразлично сказал я. Мелькнула мысль огрызнуться: мол, буду жаловаться! Я не частное лицо: визит мой во Францию был официальным... на уровне делегации! Но тут же сообразил, что на эту "таможню" жаловаться бесполезно. Да и кому? Не сама же она додумалась произвести шмон в моем чемодане...

Вернулся домой, начал перебирать содержимое чемодана... Все — комом! Клубком! Однако все на месте: грязное белье, носки, коробка конфет, правда, вскрытая... В наличии и выходной костюм — брал его на случай официальных приемов...

На другой день, собираясь в редакцию, попросил жену погладить его. Она тут же взялась за дело. И вдруг слышу: "Какой ты неаккуратный! Всю подкладку у пиджака оборвал!.." "Как — оборвал?" — удивился я. "На, посмотри..."

Я подошел и, глянув, остолбенел: подкладка, действительно, была оборвана, а точнее — подпорота. По всему периметру! "Ха-ха-ха!" — "Что ты смеешься?" — вспыхнула жена. "Да ты понимаешь, что это значит?" — "Что?" — "А то, что меня в шпионы зачислили! Искали, что я под подкладку зашил... Ха-ха-ха!" — "Смейся, смейся..." — сказала жена. — Досмеешься... Они, поди-ка, не у каждой подкладки подпарывают..."

И я за молчок, сник. Понял: жена была права... Но какой повод, черт возьми, я им дал, чтобы начать слежку за мной? Какой? Стал вспоминать, за что меня как редактора ругали перед поездкой во Францию... Ага, вот... За публикацию повести "Пещерный человек" Сергея Ермолинского (№ 12 за 1974 г.). Три-четыре газеты критиковали автора, а пуще журнал за подчеркивание "национальной принадлежности". Это раз! Далее, едва ли прощена была мне и публикация повести-сказки В. Шукшина "До третьих петухов" (№ 1 за 1975 г.). Вот такая, например, сценка разве могла быть забыта:

"Черти-музыканты заиграли "камаринскую". И Иван пошел, опустив руки, пошел себе кругом, пошел постукивать лапоточками. Он плясал и плакал. Плакал и плясал".

Ничего себе картинка: "плясал и плакал"... С чего бы это он расплакался-то, Иван?... Короче, эта публикация — два! Две подряд раздражающие "чертей" публикации. Был повод взять "объект" под колпак!

Перед отъездом во Францию в своем почтовом ящике я нашел открытку: "Викулов, кирпич на голову падает иногда случайно". "Ха, пугают!" — не придав я особого значения посланию анонима, не сообразив, что он мог иметь в виду не только физический кирпич, но и не менее полновесный административный. Уж если он обратился с довольно недвусмысленным "посланием" ко мне, то можно представить, какое сочинение накатал он в инстанцию...

Слава Богу, на дворе была середина 70-х; двадцать лет прошло после XX съезда КПСС, нанесшего удар по культу личности, но это не означало, как мне думается теперь, что доносы уже не "работали", не принимались "там" во внимание. И анонимы знали это. И рассчитывали на это. Пристальное внимание "таможни" к моему пиджаку красноречиво подтверждало, что их расчеты не были беспочвенными...

## IX

Но были, были у журнала, а значит и у меня, настоящие друзья! И не только среди читателей, но и писателей. Свидетельством тому — письма, хотя эпистолярный жанр в XX веке, даже в писательской среде, заметно поиссаяк. Мой друг Сережа Орлов,

например, писем вообще не писал, разве иногда новогоднюю открытку кому бросит, признавал только телефон.

А Федор Абрамов — наоборот: с необыкновенной легкостью, с превеликой охотой хватался за перо, если вдруг что-то в жизни дружка-приятеля его по-настоящему порадовало — не мог он эту радость оставить при себе, тут же, отодвинув рукопись, над которой работал, размахисто, не очень заботясь о складе и ладе, но зато предельно искренне выплескивал ее на бумагу.

Например, вот так:

"Поздравляю, поздравляю, Сергей Васильевич! На мой взгляд, Вам удалось скототить такую команду, какой не имел еще ни один советский журнал (за исключением разве двух-трех "патриотов", которые только позорят и компрометируют флаг корабля).

Короче, вы стали силой, способной решать задачи общенациональные, общерусские.

Но хватит ли у вас мужества и гражданской отваги — я имею в виду редакцию в целом? Сумеете ли подняться над суетностью и мелочностью возней нашего литературного бытия? Оправдате ли надежды, которые отныне возлагает на вас наша многострадальная Россия, превращенная — дико сказать! — во вторую целину — это великое-то государство с тысячелетней историей! — и стоящая в преддверии таких испытаний, которых, быть может, не выпадало на ее долю за всю ее многовековую историю.

Во всяком случае я от души, от всего сердца желаю Вашему кораблю большого и счастливого плавания!

*Федор Абрамов*

2 сентября 1978 г."

Вот и все. Ни просьбы в письме, ни какой-нибудь важной вести. Поздравляю, желаю!.. — и все. Но сколько окрыляющей доброты в этих словах, дружеской поддержки, понимания, веры в тебя!

Большой радостью были такие письма: это все равно что солнце сквозь тучи в унылый и серый день затянувшегося ненастья.

Но в радости этой было над чем и задуматься: кто они — "два-три "патриота", которые "только позорят и компрометируют флаг корабля"? Не успел я его спросить...

А вот этот вопрос: "Хватит ли у вас мужества и гражданской отваги?.." Что в нем? Тревога? Да. Надежда? Тоже... Но еще и заклинание: так держать! Потому что Россия стоит (пророком оказался Федор Александрович!) "в преддверии таких испытаний, которых, быть может, не выпадало на ее долю за всю ее многовековую историю".

В таком состоянии духа, отмеченном мрачным предвидением, вопрос его "хватит ли мужества и отваги?" приобретал особое значение. Он признавал в нашем служении литературе это мужество и эту отвагу, но беспокоился: "хватит ли?"

Я тоже признавал в нем эти, лучшие из лучших, грани его характера, брал с него пример, с радостью печатал его новые рассказы, повесть "Алька" (пришел-таки и он в "НС", будучи при Твардовском одним из ведущих авторов "Нового мира").

И вдруг — звонок от него: "Верни, пожалуйста, мне письмо, помеченное 2 сентября 1978 года". "Почему, зачем? — недоумение смяло..." — пришла на память строчка из Маяковского. Она, пожалуй, лучше всего выражала мое состояние в этот момент. Я не нашел в себе силы произнести это самое "почему"?! Если бы разговор был с глазу на глаз, наверное, спросил бы... А тут — телефон... Боялся поставить его в неудобное положение. Сказал: "Ладно, Федор Александрович, поищу... Честное слово, не знаю, где оно сейчас лежит..." А я действительно не знал, потому что личный архив мой за недостатком времени находился в ужасном состоянии. "Найди, прошу..." — повторил Федор Александрович.

И я нашел. С великим трудом, но нашел. Снял копию. Отослал. И долго думал-гадал: что случилось? Почему он потребовал вернуть письмо? Может быть, обнаружил в нем что-то компрометирующее его доброе имя? Обнаружил и испугался? Но кого? И как тут быть с "мужеством и отвагой", к которым он призывал нас? Еще и еще раз обдумывая случившееся, пришел к выводу, что этот более чем странный поступок Федора Александровича был связан с публикацией в "НС" романа В. Пикула "У последней черты". Как известно, шуму было много. В Ленинграде особенно (об этом я еще буду писать)... Представляю, чего только не наслушался Федор Александрович в те дни о "Нашем современнике" и его главном редакторе... Было кому из его окружения и зубами скрипеть, и наушничать, и страдать, и к совести звать: как ты, дескать, мог такими словами? О таком журнале?

Зная литературную среду Ленинграда, сегодня особенно хорошо понимаю, что в этом городе "НС" не выжил бы...

"Нечистая сила" — значилось на титульном листе рукописи. И ниже: "Исторический роман-хроника".

Огромный том! Более тысячи машинописных листов. "Громыхнул опять Валентин Саввич!" — с восхищением подумал я. Книжки В. Пикуля попадались мне и раньше: "Слово и дело", "Пером и шпагой", "На задворках великой империи", "Моонзунд", "Богатство"... — но такой "кирпич", да еще в рукописи — впервые. Перевернул страницу — бросился в глаза заголовок: "Список литературы, лежавшей на столе автора". 128 названий! И почти в каждом — "Григорий Распутин..." "Распутина..." "О Распутине..."

Лю-бо-пыт-но... Хотелось сразу же пробежать глазами хотя бы пять-десять страниц, но в кабинет уже кто-то вошел и... И как всегда, стало не до того... Сунул "кирпич" в портфель. Вместительный, из яловой кожи (польское изделие), он сразу потяжелел и, как всегда, остался стоять на полу, дожидаясь своего часа. А час этот наступал не раньше шести-семи вечера... И тогда я поднимал портфель на стол, засовывал в его чрево (уже с трудом) то, что подбросили в течение дня редакторы отделов и настойчивые авторы ("Пожалуйста, прочти... Только лично!"), одевался и выходил на улицу. То, что портфель круглился боками и здорово оттягивал руку, означало: через час-полтора, уже дома, начнется мой второй рабочий день... Так оно было и на этот раз...

Конечно, я мог и не брать "Нечистую силу" домой, тем более что никто пока в редакции рукопись не читал, но уж слишком заманчиво звучало — "Нечистая сила"... Читал до полуночи. Читал на следующий день, потом еще два дня — уже с карандашом в руках... Здорово! Многие открыли автору собранные им книги, собранные по крохам, поскольку издавались небольшими тиражами, а некоторые из них к тому же — за рубежом, и числились в ряду запрещенных...

"Так вот как оно было!" — то и дело отмечал я для себя, глотая страницы рукописи. Не стану расписывать, что именно являлось открытием для меня: теперь уж мало кто не читал эту знаменитую книгу конца 70-х годов и каждый, думаю, поймет меня без слов.

Но вместе с тем я испытывал и немалую тревогу: удастся ли роман напечатать? Чем дальше листал я рукопись, тем больше убеждался, что сделать это будет весьма и весьма непросто... Хорошо бы дать почитать рукопись двум-трем членам редколлегии — Нагибину, например, Астафьеву, да где там... Экземпляр рукописи — единственный, а размножить — нет никакой возможности (машинистка и без того перегружена)..

Есть в редакционном жаргоне такое словцо: "читабельность", то есть занимательность рукописи. Уверен, не было и нет такого редактора, который, решая вопрос печатать — не печатать конкретную рукопись, сбрасывал бы со счетов это ее качество. "Нечистая сила" — роман в высшей степени читабельный, понял я. И если его удастся опубликовать — наверняка станет бестселлером, гвоздем трех-четырех номеров, поскольку печатать пришлось бы с продолжением.

Минул еще день, и я передал рукопись В. Пикуля своему молодому заму Леониду Фролову. Он прочитал без задержки. Пришел — спрашиваю: "Ну как?" — "Я за!" — ответил Фролов. "А не боишься остаться без работы?... Меня снимут — сяду за письменный стол: я — член Союза писателей... А ты?" — "Ну, Сергей Васильевич, — довольно спокойно ответил мой зам, — без работы не останусь". И это понравилось мне: "Не трусит!" Правда, потом понял: Л. Фролов, вчерашний инструктор ЦК ВЛКСМ, опытный аппаратчик, знал, конечно, что в случае чего — ответ держать будет главный, а не зам. (Забегая вперед, скажу, что так оно и вышло...)

Стали мозговать, какие места в рукописи могут вызвать возражения цензора, чем можно пожертвовать, чтобы не вызвать переполоха на Китайском проезде\*.

— Во-первых, надо заменить название, — размышлял я. — С таким названием роман не пройдет — надеюсь, ты понимаешь... — Фролов сидел передо мной. — Что если назвать его так: "Засохшее дерево", имея в виду империю накануне революции? Да и выживших из ума старцев, стоявших у ее кормила? Хорошо бы к этому названию подобрать еще и эпиграф. Из Ленина... У Владимира Ильича об этом периоде написано много... Придется подсократить Арона Симановича: слишком откровенен личный секретарь Григория Распутина. Хвастается своим всемогуществом, своим влиянием на Распутина... на императора...

Л. Фролов оказался молодцом: на следующий день пришел со своим вариантом названия.

— Вот, — сказал, — из ленинской статьи... "У последней черты".

— А что, неплохо! — согласился я. — Мудрые, весомые слова! "У последней черты"... Самодержавие у последней черты, у края пропасти — об этом роман.

На том и порешили.

Порешить-то порешили, но ведь все это надо было с автором еще согласовать: а

\* На Китайском проезде размещался "Главлит" (цензура).

вдруг он не поверит в искренность нашего намерения на пределе возможного довести роман до публикации (видал, дескать, уже таких!) и не пойдет нам навстречу. Опасения эти были тем более обоснованными, что никто из нас на ту пору не то что не был знаком с Валентином Саввичем, но даже и в глаза его не видел, словом не перемолвился. Жил он в то время уже не в Ленинграде, а в Риге, никуда почти не выезжал — даже в Москву на писательские собрания. Поэтому встретиться с ним, даже случайно, было маловероятно...

Переговоры вели по телефону. Потом посылали к нему редактора отдела прозы... Валентин Саввич, конечно, был огорчен и переименованием романа, и предлагаемыми нами сокращениями, но упираться не стал. Роман, как мы узнали от него, уже четыре года коцует по редакциям и издательствам. И вот — забрезжила надежда... И он, видимо, решил ухватиться за нее.

Через три месяца, в апреле 1979 года, первые листы романа легли на стол цензора. С замиранием сердца ждем: подпишет, не подпишет? Если не подпишет — это будет означать катастрофу. Такую огромную "дыру" заткнуть будет невозможно, не говоря уж о том, что номер не выйдет в свет вовремя, а это тоже ЧП. А кроме того, и материально журнал "погорит", так как за набор автору надо платить. Таков закон.

"Главлит" со своим решением безбожно затянул. Потребовал представить всю рукопись.

Через несколько дней последовало, наконец, приглашение на Китайский проезд. Поехал, твердо решив: буду убеждать цензора, искать компромисса, но не спорить: не тот случай...

К удивлению своему, я увидел цензора (это был Василий Сергеевич Фомичев) не раздраженным, каким он бывал, когда в номере что-то его решительно не устраивало и он готов был произнести самый жестокий "приговор", а в этакое сдержанном волнении, какое овладевает человеком, когда ему надо принять трудное решение.

— Вот, посмотрите наши замечания, — сказал он, пододвинув ко мне верстку номера, и отвернулся к окну, постукивая пальцами правой руки о стол. Замечаний было много: синий и красный карандаш, чередуясь, прошлись почти по всем страницам.

Это была работа нашего, персонального, закрепленного за журналом цензора-женщины: с нею мы почти не встречались. Главной должностной ее обязанностью было — прочитать весь номер и подчеркнуть все, что ей покажется подозрительным, противоречащим установкам "кондуита", который неизменно был у нее под рукой (к сожалению, мне так и не удалось заглянуть в него). Чтобы не оплошать и, не дай Бог, не лишиться из-за этого ежемесячной премии, она подчеркивала, как я убедился, с хорошим запасом надежности. Старший цензор (видимо, один из заместителей главного) читает только то, что подчеркнула она. Замечания, которые он сочтет справедливыми, и будут предъявлены главному редактору.

Полистав верстку, я вяло положил ее на стол и, не веря в успех, достал из портфеля последний свой "аргумент" в защиту романа — отзыв на него профессора, преподавателя Академии общественных наук при ЦК КПСС А. Ф. Смирнова. Редакция обращалась к нему перед засылкой рукописи в набор.

— Между прочим, профессор Смирнов в своем отзыве пишет... можно, я прочту?... Вот: "Огромное влияние Распутина — факт исторический. Достаточно напомнить, что В. И. Ленин употребляет многократно определение царских министров как ставленников Распутина и прямо говорит о "стране Николая и Распутина", о "жалкой шайке полоумных людей, как Николай и Распутин" и т. д. И вот вывод профессора, с которым, на мой взгляд, нельзя не согласиться: "Пикуль правильно подчеркивает, что страшен был не сам Распутин, страшны были силы за ним стоящие, его использовавшие"...

Я хотел процитировать что-то еще, но Василий Сергеевич прервал меня:

— Да не надо убеждать меня, Сергей Васильевич! — тряхнув над столом руками, вполголоса сказал он. — Не надо! Я все понимаю... — Помолчал, отвернувшись к окну, решительно заключил:

— Замечания, над которыми вам придется подумать, вот... — Он начал листать верстку. — Вот, отмечены галочкой... Поправите, номер подпишу.

Легче стало на душе: не лишил надежды, пообещал. Значит, скорей в редакцию и — за работу...

Галочек оказалось не так уж и много: Василий Сергеевич действительно все понимал, он сам был историком.

На другой день, просмотрев наши поправки, сделанные в основном способом "ретуши", он подписал номер.

— Спасибо! — возликовав в душе, а внешне никак не выказав этого ликования, коротко бросил я. Хотелось сказать и еще что-то такое... сердечное, искреннее, но на сей раз — мелькнула мысль — слова были не нужны: мы понимали друг друга без слов... Редко, но бывало и такое...

С непривычным опозданием апрельский номер пришел, наконец, к подписчикам.

Пятый типография отпечатала почти по графику. В шестом и седьмом номерах публикация романа должна была завершиться.

Посчитав проблему этих номеров решенной, я взял путевку в Дом творчества "Малеевка" (это в 90 километрах от Москвы), чтобы посидеть хоть малость над своей рукописью... Но не прошло и недели — в дверь моей комнаты решительно постучали. Открыл — все понял: передо мной стоял наш редакционный шофер, он же — курьер.

— Сергей Васильевич, вас вызывают в ЦК. Срочно! К Зимянину! — почти повоемному выпалил он.

— Понятно... — произнес потерянно. А я действительно сразу же понял, зачем там понадобился он...

И вот "Волга" мчится в Москву... Размышляю: прямо на Старую площадь двинуть или все же заскочить домой?.. Чувствую: нервничаю... В таком состоянии, знаю, мне трудно будет выдержать напряжение предстоящего разговора, не сорваться, не уронить достоинство.

А в том, что разговор будет нелегким, я не сомневался. Напечатана половина романа, заклятые друзья наши успели, конечно, прочитать ее, а прочитав, сигнализировать "наверх". Удивляло только то, что сигналы эти подзапоздали. Я ждал их раньше, сразу после выхода апрельского номера... Прошляпили, разгильдяи! — подумалось мрачно.

Решил все же заскочить домой: вспомнил совет врача: "Если будете знать, что придется поволноваться, примите эту таблетку — избежите стресса".

Принял.

В кабинете Зимянина сидели трое: сам Михаил Васильевич, В. Ф. Шауро и его заместитель А. А. Беляев. Перед Зимяниным лежала верстка шестого номера "НС".

Сразу заметил: Михаил Васильевич нервничает. Он весь в движении, подергивается на стуле, суетливо жестикулирует. Перелистнув три-четыре страницы верстки ("Ого! Как разрисована!" — отметил я про себя), он без всяких предисловий взял, что называется, быка за рога:

— Кто принимал решение о публикации романа?

— Я принимал решение... — ответил я с удивившим даже самого спокойствием — наверное потому, что счел свою судьбу решенной... Ну, а раз так, то к чему он, "жалкий лепет оправданий"? И кроме того: был ли неожиданным для меня этот разговор? Нет, не был. Я знал, на что шел... Единственное, что могло вывести меня из равновесия, это... когда Зимянин позволил бы себе или закричать на меня, или оскорбить каким-то другим способом. Была заготовлена фраза на такой случай: "На меня четыре года немецкие пушки орали, я и то не испугался!.."

Зимянин, между тем, продолжал:

— Читал ли рукопись кто-нибудь из членов редколлегии?

— Никто не читал... Кроме зама и рецензента. В рукописи более тысячи страниц, размножить ее у нас не было возможности.

— Какие замечания были со стороны цензора?

— Цензор, как всегда, был строг. По его требованию мы убрали около пятидесяти страниц (сказал наобум и, пожалуй, преувеличил). Если что-то в романе вас не устраивает, вина не цензора — моя. — Этот ответ я заранее согласовал со своей совестью, предвидя, что разговор о цензуре обязательно зайдет. Я не должен был предавать его, не имел на это морального права. Я хорошо помнил его слова: "Да не надо меня убеждать! Я все понимаю!" Для того времени это были мужественные слова. В них я расслышал нечто очень важное для себя: одинаковое понимание смысла романа и готовность пойти на риск. Что, собственно, Василий Сергеевич Фомичев и сделал.

Зимянин, изобразив удивление, спросил:

— Что вас привлекло в этом романе? Распутин? Альковные сцены? Разложение царского двора?

— А что еще мог показать автор, взяв предметом своего исследования распутинщину, царский двор? Да, разложение, да, разврат... Монархия, как сказал Ленин, подошла в то время к последней черте, за которой революция была неизбежна. И она произошла... Я думаю, вам известен один весьма характерный эпизод из биографии молодого Ленина... Его ведут по тюремному коридору... Надзиратель, поворачивая ключ в дверях камеры, говорит: "Что вы все бунтуете, молодой человек! Ведь перед вами стена!" — "Стена, да гнилая, — ответил Ленин. — Ткни и развалится!" Вот эту гнилую стену и показал Пикуль. И если это так — а это действительно так! — то почему я должен был отвергнуть роман?

— Но по Пикуль получаются, что не было в это время ни рабочего движения, ни партии большевиков, руководившей этим движением. Все рушилось само собой, большевикам делать было нечего...

— Пикуль, как я понимаю, не ставил себе задачу показать нарастание революционной ситуации и роль ленинской партии. Это сделали другие авторы. Да и



сам он в романе "На задворках великой империи"... Критиковать же книгу за то, чего в ней нет, в литературе, кажется, не принято. Ну, а то, что в ней есть, автором не придумано, все соответствует реальным фактам. 128 книг и других печатных источников использовал он — вот этот список, — прежде чем выработал свою, художественную, версию описываемых им событий.

Факт — вещь упрямая, Михаил Васильевич! Был Арон Симанович — личный секретарь Распутина, проворачивавший через него дела огромной государственной важности? Был! И никуда от этого не денешься. Это наша история. И ни подправить ее, ни сократить невозможно. История, в отличие от человека, насилию не поддается. Не Пикюль, а Симанович написал в своей книге "Распутин и евреи": "С тех пор, как Распутин возымел решающее значение при назначении министров, он постоянно искал подходящих кандидатов... Он постоянно обращался ко мне с просьбой указать подходящих лиц для одного или другого министерского поста...

Если выбор был особенно затруднительным, то нам приходил на помощь Манусевич-Мануйлов... По его совету был назначен Штюрмер председателем Совета министров. Манусевич-Мануйлов рекомендовал нам Штюрмера как "старого вора и жулика" и ручался за то, что Штюрмер исполнит все наши пожелания... Я выступал за него потому, что он был еврейского происхождения".

— Хорошо! Не будем дискутировать! — прервал меня Зимянин. — Речь о самом факте публикации... — Нервно переключаясь с места на место верстку номера, он добавил: — Вы поставили нас в экстремальное положение! — Я хорошо запомнил эти слова: "в экстремальное положение!" — Вы даже не представляете, какая будет реакция на Западе! "Антисемитский роман!" — будут кричать...

"Наконец-то, — подумал я, — наконец-то секретарь ЦК сказал главное: роман "антисемитский"... Однако, забегая вперед, скажу, что дело было не только в этом. Один сведущий человек, когда я рассказал ему о встрече с Зимяниным, о его чрезвычайной озабоченности самим фактом публикации романа В. Пикюля, дал понять мне, что у Михаила Васильевича были и другие, не менее серьезные причины нервничать, что в "экстремальное положение" его поставили не столько откровения об Ароне Симановиче, Митьке Рубинштейне, Штюрмере, Манусевиче-Мануйлове и их единоверцах, сколько довольно прозрачный намек на удручающую похожесть правительственного синклита при Николае II на нынешнее кремлевское руководство. Притом не только в смысле возраста (приближалась эпоха пышных похорон), но и образа жизни, отмеченного коррупцией, пьянством, разворовыванием казны ("камушков") и т. п.

Именно так был истолкован роман супруге Леонида Ильича постоянными посетителями ее салона — модными поэтами, актерами и людьми их круга. Возмущившись, супруга генсека, что называется, ударила "полундру", подняла на дыбы М. А. Суслова, ну а тот, естественно, взял в оборот Зимянина: дескать, куда вы смотрите, уважаемый?

Не могу ручаться, что все именно так и было, но и не верить человеку, вращавшемуся в то время в высоких сферах, тоже не могу.

...Как раз в тот момент, когда Зимянин заговорил о предполагаемой реакции Запада, в кабинет вошел цензор Солодин (на служебной лестнице он стоял выше Василия Сергеевича Фомичева, подписавшего — уверен, не без согласования с ним — номер в печать). Видно было, что он явился сюда тоже по срочному вызову. Сделав три-четыре шага от двери, аккуратно прикрытой за ним помощником секретаря, встал буквально по стойке "смирно" (дрожащие руки по швам) перед грозной тройкой, беседовавшей со мной. Зимянин закончил мысль и только тогда вскинул глаза на вошедшего, сказал зло и резко:

— А вы пройдите в соседнюю комнату — с вами разговаривать будут там!

Солодин по-солдатски повернулся и вышел.

Увидев, что Зимянин по отношению к нему настроен слишком решительно, я сказал:

— Михаил Васильевич, я еще раз повторяю: "Главлит" не виноват...

— Разберемся... — не придав никакого значения моему заступничеству, буркнул Зимянин. Успокоясь, откинулся на спинку кресла и, не поднимая глаз, произнес почти по слогам:

— Так как же нам быть? Продолжить публикацию или?.. — К кому он обращался, было непонятно. Но, поскольку Шауро и Беляев молчали, я принял его вопрос на свой счет:

— Михаил Васильевич, я считаю, что ИЛИ будет большой ошибкой. Прерванная публикация станет подарком для советологов на Западе. Да и у нас в стране разговор будет не меньше... — В тот момент я еще не знал, что здесь, в ЦК, днем раньше на специальном совещании уже обсуждался вопрос — печатать или не печатать вторую половину романа. Идеологи ЦК держали совет с учеными-историками и литературоведами, предоставив им возможность ознакомиться с рукописью... Не знаю,

что говорилось на совещании, но, судя по поведению Зимянина, окончательного решения и там принято не было.

Выслушав меня, Зимянин взял со стола верстку и подал ее Беляеву:

— Пойдите с Сергеем Васильевичем к себе в кабинет и сделайте все как надо...

Я перевел дух: понял, что публикация романа будет продолжена.

В кабинете у Беляева сразу же убедился, что хозяин его прекрасно знает, "к а н а д о". Вооружившись красным карандашом (цензорским!), Альберт Андреевич приступил к делу. Там, где в тексте стояло "Арон Симанович", он жирно вычеркивал "Арон", оставляя только "Симанович". Умно! Ничего не скажешь. Фамилия Симанович вполне могла сойти за белорусскую. Аккуратно вычеркивал он и фразы, выставившие в неблагоприятном свете и маразматиков-министров, и "единоверцев" Симановича — так Арон называл евреев в своей книге о Распутине. Возражать Беляеву-цензору, спорить с ним в такой ситуации было бессмысленно. Я утешал себя тем, что публикация романа, хотя и кастрированного, все же будет завершена. Завершена, разумеется, без меня... В этом я не сомневался: такие проколы ЦК редакторам не прощали...

Пикуль тоже, получив последние два номера с окончанием романа, на чем свет стоит ругал меня — главного редактора журнала. Это рассказал мне пользовавшийся полным его доверием литературный критик Сергей Журавлев. "Испортили роман, испортили! — сокрушался он. — Ноги моей больше не будет в этом журнале!"

Я принял это, как должное, — подобное доводилось слышать не только от Пикуля... Успокаивало то, что читатели не воспринимали роман как "испорченный", наоборот! Об этом красноречиво свидетельствовали их многочисленные письма в редакцию.

Со временем оттаял, сменил гнев на милость и Валентин Саввич. В течение десяти последующих лет он напечатал в "НС" несколько блестящих подборок исторических новелл и рассказов... И даже роман "Честь имею!"

Что было дальше?

Партийный маховик, резко повернувшись, буквально на следующий день привел в движение шестеренки обоих Союзов писателей — российского и "большого", того, в котором верховодил "тишайший" Г. М. Марков. Меня — возмутителя спокойствия на заседаниях своих секретариатов ни тот, ни другой Союз почему-то не пригласили. Что говорилось у Михалкова, я не знаю до сих пор. У Маркова разговор шел под стенограмму, и копия ее каким-то образом сохранилась в моем архиве. Запись из рук вон плохая, невыправленная, но кое-что из нее я все же приведу, чтобы дать понять читателю, какой переполох был не только в партийном, но и писательском аппарате в связи с ЧП, происшедшем в "НС".

Заседал секретариат Союза СССР 27.V.79 года, сразу после вызова меня "на ковер" к Зимянину. Как раз в это время (любопытное совпадение!) вышло Постановление ЦК КПСС о повышении ответственности редакторов за идейно-художественный уровень своих изданий...

Итак, заседает секретариат СП СССР. После выступлений В. Кожевникова и Ю. Верченко, в целом пустопорожних (в этом жанре они оба были классиками), в разговор включился В. Шауро.

Среди "своих в доску" он, оказывается, рот все-таки открывал: "Вы говорите о повышении активности и бдительности, но в отношении Пикуля уже был серьезный разговор у товарища Зимянина, очень нелцеприятный разговор по поводу четвертого и пятого номеров "Нашего современника", по поводу шестого и отсутствия вкуса, нормального человеческого вкуса и бульварности... Очень серьезные замечания были сделаны по шестому номеру (имелись в виду, видимо, вычеркивания, сделанные Беляевым. — С. В.), там есть такие перлы, которые не могли быть предметом публикации..."

Г. М. Марков продолжил на той же волне, но более определенно и строго:

"Я считал бы возможным после Вашего замечания, Василий Филимонович, непременно подчеркнуть и упомянутое решение ЦК партии об ответственности. Понятие ответственность — конкретно. Да, журнал издается тиражом 200 с лишним тысяч, но отвечает за него Викулов и редколлегия. Нужно вспомнить о собственной, персональной, л и ч н о й о т в е т с т в е н н о с т и... Руководители Союза писателей Российской Федерации здесь были. Ясно, что явление это необычно, они у себя это обсуждали, протокольно это зафиксировано. Нужно понимать, куда идет дело... Берусь утверждать перед любым ревтрибуналом (ого! — С. В.), что Григорий Распутин побочная фигура русской истории".

Не очень ясны смысл и логика речи "тишайшего" Георгия Мокеевича, но вывод его вполне определен: Викулов должен лично ответить за публикацию! Хотя вышли в свет пока только первые два номера из четырех... А что касается "побочной фигуры" — то не Георгию Маркову — романисту говорить бы об этом: без "побочных фигур" художественного произведения не бывает.

Собравшийся сразу по завершении публикации злополучного романа секретариат правления СП РСФСР (19.VII.79 г.) решил в октябре обсудить его с приглашением главного редактора журнала, а тем временем в "Литературной России" опубликовать "оценочную статью о романе". Через неделю (завидная оперативность!) такая статья в названном еженедельнике была напечатана (ясно, что она была уже готова).

Название статьи было подчеркнуто-выдержанным, интеллигентным, не привлекающим внимания читателя: "Когда утрачено чувство меры". Всего лишь: "чувство меры"... Подпись под ней стояла такая: "И. Пушкирева, доктор исторических наук". Где откопали функционеры ЦК такого доктора, ведомо было только им: редакция "ЛР", уверен, тут ни при чем... В писательских кругах об этом "докторе", обладавшем, видимо, классическим "чувством меры", которое для ученых, подобных ей, определялось фразой "чего изволите", конечно, никто не слыхивал. Это "чувство меры" перло из нее, как тесто из квашни, она ни разу не изменила ему, критикуя роман; поскольку оно не требовало доказательств и было куда как удобно и для нее, и для тех, кто заказывал "музыку": "...автор, к сожалению, выпустил в свет сырую (выделено здесь и далее мною. — С. В.), еще не проработанную вещь, страдающую идейно-художественными изъятиями и недостатками", — вот такими бутафорскими критическими валунами ворочала И. Пушкирева. Другая бы уже устала и отложила стило, она — нет: "Автор явно отступил от единственно верного принципа классового подхода коценке прошлого...", "В романе искажена трактовка эпохи, смещены акценты в оценке (вот-вот на стихи перейдет. — С. В.)", "Не находят отражения главные противоречия того времени...", "У автора словно все поставлено с ног на голову..."

Все! Больше уже добавить, кажется, нечего: весь набор "критических" штампов для статьи подобного рода налицо. Однако, дочитав рецензию до конца, вдруг понимаешь, что все эти "глубоко научные" выводы нужны были авторам рецензии (я не оговорился: авторам!) лишь как предисловие к главному, как гарнир к отбивной, а сама отбивная выглядела так:

**"Внеклассовым подходом** отличается и **назойливое акцентирование автором национальной принадлежности того или иного персонажа**, связанного с Распутиным и царской семьей".

Ах, вот оно что... "Акцентирование национальной принадлежности" авторам рецензии не нравится. Они его даже "назойливым" назвали, выдав через это слово свое крайнее раздражение. Они как бы говорят автору романа и нам, грешным: какая разница, кто правит Россией, — турок, китаец, еврей, армянин, араб, индус — какая разница?... При классовом-то подходе?

Но вот прошло 15 лет и в России все изменилось. Большевики-интернационалисты, основатели *первого в мире социалистического государства*, правившие им 3/4 века, предали это государство. Разгромили. "Разрушили до основания" собственными руками и вернулись к тому бревну, от которого с шашками наголо в 1917 году поскакали к "светлому будущему".

Прямые наследники большевиков, "верные ленинцы", рассовав по сейфам все, что было нажито народом за семьдесят лет, в одночасье стали банкирами, управляющими нефтегазовыми концернами, владельцами дворцов и вилл в зарубежье...

Они оплевали даже своих богов — Маркса и Ленина. Особенно достается Ленину. В ежедневной телехронике они непременно найдут повод поиронизировать над ним, стоящим (все еще стоящим!) на гранитном пьедестале с вытянутой, зовущей вперед рукой...

Все выбросили на свалку бывшие большевики, даже серп и молот с государственного герба — святые символы труда и единения крестьян и рабочих в единый организм — народ. Не постеснялись в карикатуре на кандидата в президенты от народно-патриотического блока Г. А. Зюганова вложить серп и молот в его руки, как орудия пыток и казней. *Большого оскорбления народа невозможно представить*. И оно, уверен, не будет им забыто!

Все, повторю, выбросили вчерашние большевики, перекрасившись в "демократов", кроме... кроме большевистского подхода к "национальной принадлежности". Карабкаясь сегодня на русский престол, некоторые кандидаты в президенты о "национальной принадлежности", как о пустяке, недостойном внимания, предпочитают не говорить; стесняются — вот неблагодарные! — назвать по имени-отчеству даже своих родителей. Бросит иной мимоходом: папа был юристом, мама была химиком — и привет. И будьте довольны! Но если вспомнить: "яблоко от яблони недалеко падает" (русская пословица!), то станет совершенно ясно, что народ должен знать, какой была яблоня, какие плоды на ней вызревали.

И потому претенденту на президентский пост, не назвавшему по имени-отчеству своих родителей, вполне можно поставить в вину его попытку скрыть свое лицо, обмануть народ, которым он вознамерился править. О своем президенте народ должен знать все, всю, как говорят, подноготную, в том числе и родословную жены. "Ночная кукушка дневную перекукует" — это о женах царей.

Поэтому темнить в вопросе "национальной принадлежности", как это делали большевики, придумывая псевдонимы, а о родителях и женах вообще не вспоминая, сегодня непозволительно: выбирает Россия у края пропасти...

Но вернусь к роману "У последней черты". Один из его главных персонажей Арон Симанович в большевиках не состоял, в руководство РСДРП не рвался, поэтому своей национальной принадлежности не скрывал, да и вообще к этому вопросу относился совершенно спокойно. В книге "Распутин и евреи" он писал: "При царском дворе были всегда заняты евреи, и никто не видел в этом ничего предосудительного. Фиктивно причисленные к канцелярии градоначальника, евреи могли с своими семьями совершенно беспрепятственно проживать в Петербурге".

Не постеснялся упомянуть о национальной принадлежности Арон Симанович и в следующем сообщении: "Столыпин поехал в Киев и был там убит агентом Киевской охранной полиции евреем Богровым".

В самом конце рецензии авторы сформулировали вывод: "...журнал "Наш современник", давший путевку в жизнь многим достойным произведениям советской литературы (вынужденный реверанс! — С. В.), опубликовал на сей раз роман В. Пикуля "У последней черты", граничащий с бульварной литературой".

"Граничащий..." — и на том спасибо. Постеснялись все-таки сказать "бульварный". Хотя сути дела это не меняло: читателю врезались в память именно эти слова: "граничащий с бульварной..." И он, уважая себя, не потянется к такому роману, не станет пачкать руки — на что у авторов рецензии и был главный расчет.

Я ждал, что скажет о романе "Литгазета", но она (и в этом тоже был расчет!) ограничилась лишь пересказом рецензии в "Лит. России". Автор статьи в "ЛГ", скрывшись за псевдонимом "литератор", добавил к критике Пушкиревой лишь одно замечание: роман "перенасыщен альковными подробностями из жизни "высшего света" предреволюционной России", опустив при этом "назойливое акцентирование"...

Газета "Правда" и другие многотиражные издания гробово молчали. Не-потому, что не хотели высказаться — наверняка хотели, но таков был сценарий, разработанный доками, занимающими ключевые посты в ЦК "руководящей и направляющей". Это было понятно всякому, кто хоть сколько-нибудь соприкасался с редакционной кухней газет и журналов в то время...

Секретариат правления СП РСФСР с повесткой дня "О публикации в журнале "Наш современник" (№ 4—7, 1979 г.) романа В. Пикуля "У последней черты" собрался 7 октября 1979 года. Значительность этого события подчеркивалась тем, что от отдела культуры ЦК КПСС на нем присутствовали двое — К. Долгов и С. Потемкин, от Госкомиздата — его председатель Н. Свиридов, от Совмина РСФСР — В. Абрамов, от СП СССР — И. Богатко и — якобы без приглашения — пришла на заседание и И. Пушкирева, автор разгромной рецензии на роман в "Лит. России". Естественно, присутствовала вся редакция журнала, зато из членов редколлегии не было никого, если не считать Ю. Бондарева... Не пригласили.

Добавлю, как факт особого значения, публикацию в "Правде" в этот день статьи В. Оскоцкого: дождалась-таки "Правда" своего часа! (Сценарий выдерживался пунктуально!) В. Оскоцкий на фоне других исторических романов подверг критике роман "У последней черты", руководствуясь все той же установкой: не выделять его из общего ряда, не акцентировать внимание читателей только на нем, не разжигать "нездоровый интерес", а так, подчеркнуто спокойно, высказаться об этом сочинении как о полной неудаче писателя и потому недостойном внимания читателей. Для тех, кто не читал романа, Оскоцкий в первом же абзаце отчеканил: "...многословное, рыхлое повествование об альковных тайнах царской семьи и придворной камарильи".

Синхронно с ним, но уже в газете "Труд" прозвенел отлитой в том же тигле строкой его единомышленник Ю. Суровцев: "Сейчас в печати справедливо критикуют роман В. Пикуля "У последней черты", напечатанный в журнале "Наш современник". В романе есть существенные идейные просчеты. Он плохо написан с точки зрения композиции и языка".

Таким образом, секретариату было чем руководствоваться в предстоящем обсуждении.

С. Михалков во вступительном слове, зачитав "справедливые критические замечания" из статьи в "Правде", добавил от себя, что читателям романа (цитирую по стенограмме. — С. В.) "представляется возможность подсмотреть за действующими лицами как бы в литературную замочную скважину" и что они, возмущенные, прислали

в правление Союза писателей много писем-отзывов, в которых оценивают роман "как произведение незрелое, *отмеченное внеклассовым подходом* к исследованию прошлого". (Были письма и другого характера! О них разговор впереди. — С. В.)

Предположив, что редакция опубликовала роман В. Пикуля ради привлечения новых читателей, Михалков задался вопросом: "Нуждается ли "Наш современник" в подстегивании читательского интереса путем публикаций такого рода? Известно, что журнал и без того пользуется уважением и любовью читателей. Журнал публиковал и публикует яркие, талантливые произведения современной прозы, публицистики, поэзии... Давайте же на нашем секретариате об этом поговорим, *любя и уважая* (!) главного редактора и сам журнал, который является одним из лучших журналов".

"Любя и уважая"... Хитрый бестия этот Михалков!

Однако секретари, мне показалось, охотно вняли его призыву. Выступивший первым после меня\* Феликс Кузнецов начал именно с этого (цитирую по стенограмме): "Журнал — один из лучших в Советском Союзе. За время его существования при новой редакции журнал поставил себя очень высоко, завоевал любовь и уважение самых широких кругов читателей как у нас, так и за рубежом". В. Пикуль, по мнению Ф. Кузнецова, несмотря на неудачу с этим романом, "один из любимых писателей, его много читают. Вместе с тем серьезного разбора его творчества до сих пор не было". И в этом Ф. Кузнецов видел свою и коллег вину перед писателем.

Михаил Алексеев — главный редактор журнала "Москва" — отметил познавательную ценность романа: "Где-то с середины романа думаешь: как же вовремя пришла Октябрьская революция! Вот она, эта гнилая стена, о которой говорил Ленин — "ткни и развалится". Согласившись с критикой романа в "Правде" (попробовал бы кто не согласиться! — С. В.), М. Алексеев, как и предшествующий оратор, сказал далее очень важные слова в защиту журнала: "Не надо абстрагироваться от того, что сделал этот журнал на протяжении последних десяти лет. Все помнят: журнал был на грани закрытия. Как говорится, дышал на ладан, на него никто не подписывался. Заслуга Викулова в том, что по городам и весям объявились и стали известны через этот журнал такие авторы, без которых литература наша сейчас просто немислима".

В. Поволяев почти слово в слово повторил автора статьи в "Правде" В. Оскоцкого: "Историческая ленинская идея свержения царизма подменена в романе идеей саморазложения, о чем справедливо заметил (разрядка моя. — С. В.) в сегодняшней "Правде" В. Оскоцкий" (а еще раньше "заметил" это в разговоре со мной М. Зимянин!). "Одобрямс", подхалимаж, угодничество были натурой Поволяева, нормой его поведения, его коньком, который лихо вывез его из репортеров "Литгазеты" не только в российские издательства и журналы (кроме "НС"), но даже в секретари СП РСФСР (С. Михалков оценил его "способности") и председатели Литфонда России.

"Неверный ракурс взят Пикулем, — еще раз повторил В. Оскоцкий оратор, — и в собственно художественном изображении некоторых героев романа, например, пресловутого (! — С. В.) Столыпина, вешателя, душителя. Он изображен таким героем-мучеником, страдающим за судьбу России".

Читаю сейчас этого "эрудита", ученика В. Оскоцкого, и с ужасом думаю: а ну как не один такой был бы у С. Михалкова секретарь, а штук этак пять-шесть?! Все! "Наш современник" был бы похоронен.

Юрий Грибов — главный редактор "Литературной России", сказав, что он согласен с критикой романа в "Правде", сам журнал все-таки взял под защиту: "Это один из самых уважаемых и светлых журналов. Я сам редактор, и представляю, как это трудно сделать из ничего... Мы были на Украине, когда проводились Дни литературы. И ко мне часто подходили люди и спрашивали, как достать и выписать этот журнал... О редакторе Викулове. Я его для себя считаю образцом, хватким редактором, который сумел сколотить группу писателей вокруг себя..."

В. Дементьев: "Я согласен с мнением большинства выступавших до меня, что надо признать этот роман Пикуля большой неудачей... Вольно или невольно я, читая роман, начинал проникаться жалостью к этому огорчительно неудачливому, голубоглазому, такому интеллигентному помазаннику божьему, которого, видите ли, расстреляли..."

(Сейчас В. Дементьев краснеет, наверное, за эти слова.)

Закончил он тем же, по сути, чем и Ю. Грибов: "Авторитет журнала "Наш современник" и у читателей, и у писателей необычайно высок. В "Дневнике критика" в "Литгазете" справедливо сказано, что читатель привык к очень высокому художественно-эстетическому, идейному уровню журнала "Наш современник"... И потому публикация "У последней черты", по мнению В. Дементьева, для читателя столь огорчительна.

Вл. Санги, писатель-них, с присущей ему непосредственностью высказался — разумеется, с позиции А. Беляева — совсем "не в дугу", окончательно спутав ему карты:

\* Я, в основном, повторил то, что говорил у Зимянина.

“Я думаю, что сила С. Викулова заключается в том, — сказал Вл. Санги, — что он один из тех писателей в России, кто свою жизнь ежедневно, каждый свой шаг неразрывно связывает с жизнью народа, с конкретными проблемами села, природы... Этот высокий гражданский накал, высокое понимание ответственности писателя перед народом и находит отклик у писателей, которые не принимают другой жизни, как служение своему народу. Честно скажу, что напечататься в этом журнале — дело почетное для писателя любого ранга”.

И. Пушкарёва сказала, что она присутствует на секретариате как представитель Института истории Академии наук СССР и что на роман Пикуля она давала отрицательный отзыв еще в 1974 году по просьбе “Лениздата”, где рассматривалась тогда рукопись этого романа, называвшегося “Нечистая сила”. Далее она с нескрываемым возмущением сообщила, что В. Пикуль не учел ни одного ее замечания, высказанного тогда, и предложила все исторические романы, прежде чем печатать их, присылать на отзыв в Институт истории, дабы не было таких неудач, какая постигла В. Пикуля.

Ю. Бондарев не прямо, косвенно, ответил, по сути, на притязания “историка”: “Известно, что есть истина историческая, истина, взвешенная на весах времени, но есть истина и художественная. Если бы не было истины художественной, то не существовало бы искусства. Думаю, что даже в самом документальном произведении присутствует версия той или иной индивидуальности. Возьмите знаменитый роман “Петр I”. Соответствует ли это полностью всем историческим фактам, которые были в период, затрагиваемый Ал. Толстым? Нет. ...Нужно честно признаться в том, что мы очень плохо знаем свою историю, что мы знаем свою историю н о р м а т и в н о... Что мы знаем в деталях о величайшем событии, свершившемся в двадцатом веке, — об Октябрьской революции? Мы знаем очень мало...”

Что бы ни говорили сейчас о Распутине, я думаю, что фигура Распутина — страшная фигура, я бы сказал, историко-зловещего толка, она написана убедительно, написана сильно”.

Закончил Юрий Васильевич добрыми словами о журнале: “Мы все любим наш журнал, и здесь все говорили об этом, так что я могу просто присоединиться к этой любви. С. Викулов — это такой редактор, для которого журнал является частью его жизни, потому что он очень серьезно относится к этой работе”.

Выступили еще Н. Шундик и А. Д. Коптяева. В целях краткости воздержусь от цитирования их высказываний, тем более что они, по сути, повторили те же оценки романа и журнала, какие уже звучали в речах предшествующих ораторов. С. В. Михалков подвел итог разговору. Наиболее интересной из его заключительного слова мне показалась вот эта мысль (цитирую по стенограмме): “Публикация романа Пикуля “У последней черты” в нашем лучшем журнале вызвала широчайший общественный резонанс, причем для нас н е ж е л а т е л ь н ы й (разрядка моя. — С. В.), потому что у партии есть определенный взгляд на те или иные исторические события в нашей стране, определенный взгляд, который здесь расходится со взглядом Пикуля на тот исторический отрезок времени, который предшествовал Октябрьской революции”.

Странная логика у Сергея Владимировича: у партии есть взгляд, который расходится со взглядом Пикуля — и значит, Пикуль виноват. А может быть, взгляд партии расходится и с правдой Истории? Что тогда? История виновата?.. Так размышлял я после секретариата...

Но больше всего удивляло то, что на секретариате не было сказано ни слова — ни одним из тринадцати ораторов — о так называемой “антисемитской” направленности романа, что так испугало М. В. Зимянина.

Почему? Секретарей строго предупредили не затрагивать эту тему? Едва ли... Так в чем же дело? Да в том, что все и всегда помнили, что существует негласное табу на разговоры о “национальной принадлежности”. Пушкарёвой еще позволили вякнуть об этом со страниц “Лит. России” — газеты малотиражной и потому почти безвестной, а В. Оскоцкому в “Правде” с ее десятиmillionным тиражом и “литератору” в “Литгазете” — тоже широко распространяемой — такого уже позволено не было. Зачем напоминать русскому народу о том, что он русский народ. Мало ли что взбредет ему в голову после такого напоминания...

И еще я думал о том, что в ЦК, начиная от Беляева и выше, наверняка остались недовольны секретариатом. Ведь не ради же похвальных речей журналу и его главному редактору они его замыслили, — наоборот, они рассчитывали на “принципиальную партийную критику” романа, подводившую всех, принимавших участие в его обсуждении, к решению: Викулова с должности главного редактора “НС” снять как не проявившего должного политического чутья, опубликовавшего роман “У последней черты”, принижающий роль ленинской партии в подготовке революции 1917 года.

Не вышло. Коллективная воля писателей-секретарей оказалась весомей их, цеховской воли. Пришлось смириться, чтобы спустя некоторое время начать все сначала...

Так чем же закончился секретариат? Да можно сказать, ничем. По крайней мере, гласно. Зимянин и Беляев понимали, что любые оргвыводы по отношению к руководству журнала в этот момент послужили бы лучшей рекламой роману. Задача же состояла совсем в другом: отвратить от него читателя — любыми способами! С этой целью в бой были введены орудия крупного калибра. Через два месяца после В. Осоецкого о романе высказался — и тоже в "Правде" — сам главный редактор "Литгазеты", член ЦК КПСС А. Б. Чаковский:

"Встречаются в иных произведениях и искаженные представления о прошлом, — писал Чаковский, — попытки, уходя от подлинной истории России, вызвать необоснованный интерес к политическим проходимцам".

Нельзя не обратить внимание на эту зашифрованную критику "рыхлого" романа о "политических проходимцах". Вместо того чтобы прямо назвать роман Пикуля "У последней черты" и "политических проходимцев" Григория Распутина и Арона Симановича, А. Чаковский выводит криводушным пером: "встречаются в иных произведениях..." В "иных"... Всего лишь... А статья, между тем, называлась "Слово правды — наше оружие".

Под соусом "правды" преподнес слушателям критическое блюдо и главный идеолог партии М. А. Суслов. На неожиданно созванном (всесоюзном!) идеологическом совещании, состоявшемся в середине октября 1979 года в Большом Кремлевском дворце, Михаил Андреевич о романе Пикуля сказал так: "Не секрет, однако, что рядом с талантливыми, высокоидейными романами, пьесами, фильмами появляются еще и серые произведения. Кое-где просматривается тенденция ухода в мелкотемье, в натуралистическое бытописание, в мир мещанских страстишек. (А далее — почти слово в слово по А. Чаковскому.) Встречаются в иных произведениях и внеисторические, искаженные представления о прошлом, странные пристрастия к фигурам исторических авантюристов (у Чаковского "проходимцев". — С. В.), поверхностные суждения о современности".

Хорошо замаскировал "авантюристов" Михаил Андреевич, не назвал ни романа, ни автора, но зал, помню, ответил на эти слова гулом узнавания... И было в этом гуле злорадство одних ("Ага, получили!..") и грустная, все понимающая ухмылка других...

Должен сказать, что все эти хитроумные ходы функционеров от идеологии не помогли им упятать роман от массового читателя, отвести его от главного русла литературы, пустить загложившей протокой. В редакции не умолкал телефон: "Нельзя ли приобрести номера с романом Пикуля?" А вскоре нам стало известно, что четыре книги "Нашего современника" с Пикулем на черном рынке продаются по 25 рублей за каждую (при фактической стоимости 50 коп.). И все равно спрос не уменьшается. И тогда в продаже появились ксерокопии и даже фотокопии романа. Эти "издания", еще более дорогие, люди приносили в редакцию — показать: дивитесь, мол, и гордитесь!

Дивились... Но гордились не этими "изданиями" — тут к неподдельному читательскому интересу примешивался, как бы теперь сказали, бизнес — гордились читательскими письмами. Как же умен, как образован наш читатель! Как изголодался по слову правды! — думал я, перечитывая ежедневно все нарастающую лавину писем — откликов на роман. И как глупа, как оскорбительна игра с ним в кошки-мышки авторов рецензий, помещенных в партийных и правительственных газетах. Любили эту "игру" функционеры со Старой площади, ох, как любили! Газеты и другие СМИ были для них в полном смысле "своим полем", на котором "игра" эта происходила.

Игра без правил...

А впрочем, нынешние "демократы" в подобной игре показали себя еще более искусными мастерами.

Читателей, а по существу народ, эти игроки оберегали от невыгодной для себя информации, как ребенка оберегают от колющих предметов. Но народ — не ребенок. Он п о н и м а л, от каких знаний его "оберегают" и почему... Я порою сомневался в этом... Жизнь показала: зря!

Не стану скрывать, что в потоке отзывов на роман "У последней черты", в основном одобрительных, были отзывы и отрицательные, даже злобные... Я их тоже приведу, дабы никто не мог упрекнуть меня в тенденциозности.

Итак...

В. А. Дегтярев из Севастополя, возражая Пушкаревой и Осоецкому, писал: "Вот В. Осоецкий с неудовольствием цитирует слова В. Пикуля о том, что в основу его романа 'положены подлинные материалы... Все имена сохранены в исторической достоверности. Вымышленных героев и событий в произведении нет'. Почему же? Да потому, что, как пишет И. Пушкарева, 'внеклассовым подходом отличается... назойливое акцентирование автором национальной принадлежности того или иного персонажа, связанного с Распутиным и царской кликой'. Наша литература никогда не замалчивала такие позорные явления в истории России времен царского самодержавия, как антисемитские законы, 'черта оседлости', еврейские погромы... И это никогда не

считалось "назойливым акцентированием..." Но вот писатель назвал поименно некоторых процветавших в то же царское время, паразитировавших на труде народном, шпионивших против России других евреев — не угнетенных, а угнетателей и их приспешников, и уже готовы ярлыки "внеклассового подхода" и "назойливого акцентирования".

"Постоянный читатель" — такая подпись стоит под письмом, начинающимся словами: "Главный редактор Викулов и первый заместитель Фролов! В журналах № 4—7 за 1979 год вы вместе с Пикулем докатились до последней черты. Если Пикуль махровый антисемит, то что сказать о вас — его популяризаторах? Художницу-свинью надо гнать от чистого забора..." ("Национальная принадлежность" автора этого отзыва я думаю, ни у кого не вызывает сомнения.)

В связи с этим письмом и ему подобными считаю необходимым сделать небольшое отступление и обратить внимание читателей на весьма любопытную статью в "Правде", предшествовавшую событиям, связанным с публикацией романа Пикуля "У последней черты". Автор статьи генерал Д. Драгунский — дважды герой Советского Союза. Приведу выдержку из нее, чтобы читателям было понятней, о чем ведет речь в следующем письме академик, лауреат Ленинской премии Ф. Г. Углов.

Итак, Д. Драгунский, еврей по национальности, в своей статье "Мифы "Земли обетованной" (Сионизм вчера и сегодня)" пишет: "Сегодня с особой очевидностью обнаруживается реакционная сущность идеологии и практики сионизма, проникнутых *ярким антикоммунизмом* (здесь и далее выделено мной. — С. В.), *расистским духом, жестокостью и коварством в достижении целей, поставленных перед сионистами их империалистическими хозяевами. Сионизм исполняет роль штурмового отряда международной реакции, зачинщика антисоветских провокаций, факельщика новых военных конфликтов*".

И далее: "*Сионизм всюду одинаков: жестокий, коварный, готовый на любые провокации, лишь бы выполнить* (выполнил! — С. В.) *волю хозяев, лишь бы дезинформировать общественное мнение*".

На мой взгляд, все правильно в утверждениях Д. Драгунского. Удивляет только одно: в статье ни слова о том, есть или нет сионисты в Советском Союзе? Если нет, то почему? Почему им неинтересен Советский Союз, хотя выше автор этой статьи прямо сказал, что идеология и практика сионизма проникнута "ярким антикоммунизмом", а коммунистическим государством был тогда СССР? А кроме того, автор статьи в "Правде" добровольно или вынужденно, но подтверждал, что сионизм — явление "международное"... Но как же, спрашивается, из него, международного-то, выпало такое "маленькое звеньышко", как СССР? Что-то тут не так... И вкось, и криво. А говоря прямо, лживо. То есть с расчетом на простачков. Чтобы не только не искали сионистов в СССР, но и не задумывались: есть они или нет в их стране. А если кто-то все-таки задумывался, ему тут же подсовывали статейку, вроде той, какую за подписью Драгунского напечатала "Правда", — подсовывали, приговаривая: как же тебе, интернационалисту, не стыдно думать и говорить такое? Эдак, гляди, и до жидомасонства договоришься... А ведь ты культурный, образованный человек, ай-ай-ай... И, наверное, слышал, что в СССР есть даже даже Антисионистский комитет, и руководят им наши, советские, евреи. Это ли не гарант того, что сионизма у нас, в СССР, не может быть, потому что быть не может!.. И ты заруби себе на носу: он — сионизм — весь там, за кордоном!

Спрашивается: кто же все это внушал простачкам на протяжении семидесяти лет? И кем же они были на деле, внушители? И кому же они служили? И в чьих интересах проводили национальную политику?

На последний вопрос твердо отвечаю: только не в интересах русского народа с намертво приклепанными к нему ярлыками шовиниста, черносотенца, антисемита по натуре, быдла и раба по психологии. К такому выводу пришел я, два десятка лет проработав в "Нашем современнике" под неусыпным и строгим оком внушителя.

О романе В. Пикуля читатели "НС" писали не в "Правду" и потому выражали свои мысли безо всяких недомолвок и без оглядок на негласное табу в разговоре о сионизме, да они в большинстве случаев и не знали об этом. Академик, лауреат Ленинской премии, знаменитый на всю страну хирург Федор Григорьевич Углов размышлял, например, так:

"Роль сионизма при царском дворе еще нигде не была показана так ярко и доказательно... Вот что, оказывается, плохо сделал В. С. Пикуль... Зачем он сказал, что сахарозаводчики-шпионы и предатели — Митька Рубинштейн и "Ванечка" — сионисты? Надо было прикрыть все "классовым подходом", и роль сионизма опять была бы скрыта от русских людей... Но нас удивило другое. В романе говорится об отвратительном человеконенавистническом лице российского и мирового сионизма. Почему же советские евреи так дружно обрушились на Пикуля и с таким восторгом аплодировали Пушкиревой, при этом все до одного, с кем бы мы ни встречались?"

У следующего автора письма А. М. Костецкого (Москва, ул. Чаплыгина) роман вызвал крайнее раздражение. Обозвав Пикуля "невеждой", "бульварным писакой" и



даже "человеко-свиньей", он грозит ему и главному редактору журнала: "Помните! Вам не уйти от возмездия, рано или поздно вы — Пикуль и Викулов и вся ваша свора — ответите за свои преступления! Считайте мое письмо плевком в ваши черносотенные хари, а свастику приклейте на задницу Пикуля и молитесь на нее..."

Чувствуете? Язык и стиль "демократа"!

С. Г. Шмерлинг из Витебска обратил наше внимание на огромные заслуги евреев в подготовке и осуществлении революции 1917 года: "...гнили в царских тюрьмах Я. М. Свердлов, С. Урицкий, Володарский и многие-многие другие евреи-революционеры, принимавшие самое активное участие совместно с В. И. Лениным в создании нашей партии, в ее работе (выделено мной. — С. В.), в борьбе против царизма. А сколько еврейских имен можно прочесть на Марсовом поле в Ленинграде!.. Роман оскорбляет их память. Мы обратимся в ЦК КПСС за разъяснением — почему печатается такой роман?"

Товарищ Шмерлинг знал, куда надо обращаться "за разъяснениями", а точнее с доносом... не знал он только одного, что все перечисленные им "евреи-революционеры" "совместно с В. И. Лениным" будут преданы анафеме уже через несколько лет нынешними... "принимающими самое активное участие"... в борьбе с коммунистами его единоверцами.

М. Каган-Розенцвейг из Пскова не стал вдаваться в содержание романа, просто выразил свои эмоции и тем облегчил душу: "Прочитав "У последней черты", я не мог отделаться от ощущения, что коснулся чего-то неимоверно грязного и зловонного".

В. Самойлов — инженер из Ростова-на-Дону, человек с основательной марксистской подготовкой, размышлял: "Есть ли основание подозревать в "неклассовом подходе" К. Маркса, который, например, характеризует антисоциалистическую сущность "еврейства", заявил, что "вексель — есть действительный бог еврея", называя при этом еврея — евреем, без оговорок типа "этнический еврей", или "гражданин еврейского происхождения"... Наш строй, государство коренным образом изменились после событий, описанных в романе "У последней черты". Это верно. Но верно также и то, что сионизм остался. И используя новые формы проникновения и разложения, использует и старые: коррупцию, шантаж, казнокрадство, экономические диверсии, захват средств массовой информации, морально-политическую эрозию" (выделено мной. — С. В.).

Письмо датировано 30 августа 1979 года. До "перестройки" оставалось шесть лет...

Иванов Ю. А. из Ленинграда писал: "Читая роман Пикуля, лишний раз убеждаешься именно в классовом подходе автора. Царизм, окруживший себя проходимцами, сионистами, подонками, гомосексуалистами, **не мог стоять во главе великого русского народа** (выделено мною. — С. В.). История доказала это. Недаром роман пользуется огромной популярностью: его читают в метро, электричках, в трамваях, в библиотеках записываются на очередь. Русский народ — талантливый читатель и очень хорошо разбирается в истинно талантливом, *несмотря на усилия тех, кто помышляет о мировом господстве, пытается вогнать в землю разум и дух русского народа, превратить его в гоев*".

Л. Шевченко из Ирпени Киевской области: "Совершенно неуместен злой упрек рецензента журналу за публикацию романа, "граничащего с бульварной литературой". Это прямое оскорбление не только редколлегии, но и всех читателей, которые пачками записываются в библиотеках на очередь... Пусть союзное издательство напечатает роман отдельной книгой неограниченным тиражом — она будет раскуплена в одну секунду". (Для справки: напечатали. Во второй половине 80-х. А тогда, в 1979-м, из многих библиотек даже и журнал изъяли. Читатели сообщали нам об этом со всех концов страны.)

П. Г. Климов из Ленинграда констатировал: "...примелькались бесплодные штампованные фразы: "прогнивший режим", "зубатовщина", "столыпинщина", "распутинщина" и т. п., которыми некоторые критики и публицисты ограничивают характеристику предреволюционной эпохи. Пикуль облек эти фразы в плоть и кровь, и они предстали перед нами объемными и понятными во всей своей мерзости... Пушкирева пишет: "...в романе не находят отражения главные противоречия того времени, которые определили революционную ситуацию в России, приведшую к свержению монархии..." Голубушка, да Пикуль и не ставил перед собой такую задачу. Он писал про Фому, а вы толкуете про Ерему".

Обстоятельное письмо прислал из Минска Вл. Бегун, автор книг "Ползучая контрреволюция" и "Дети вдовы", разоблачающих сионизм.

"Уважаемые товарищи! Вас уже ругают. И это неудивительно. Тот, кто посмеет "акцентировать национальную принадлежность того или иного персонажа", незамедлительно попадает под огонь пусть себе и не доказательной, но резкой критики. Такова нынешняя закономерность.

Я с глубочайшим интересом прочитал роман-хронику "У последней черты". Не

будучи историком, не могу досконально судить об исторической достоверности романа, хотя вижу глубокую эрудицию автора и полагаю, что в общем он не погрешил против истины. Что же касается деятельности "тех персонажей" из окружения Распутина, то тут могу сказать вполне определенно: автор прав!

По роду своих занятий я пристально интересовался некоторыми "персонажами" и хорошо знаю, что сионисты, как пиявки, присосались к правителям Российской империи. Симанович, Рубинштейн и другие гешефтмахеры действовали именно так, как о том пишет В. Пикуль. Строго говоря, роль их в романе даже преуменьшена. Я, например, ожидал, что автор заглянет в ставку кадетов, на квартиру мадам Кусковой, в Вольное экономическое общество, чтобы приподнять завесу тайны над российскими масонами. В числе гробовщиков России этого сорта тоже были "лутшие из яврейв" — деятели почище Симановича и Митьки Рубинштейна. Говорю это не голословно, так как располагаю материалами, доказывающими, что сионистская клика орудовала не только при дворе, но осуществляла более широкий заговор против народа.

Ну так зачем же скрывать национальную принадлежность этих господ? И что в показе такой принадлежности "внеклассового"? От нас уже достаточно скрывали обличье этих злейших врагов, и потому они уже после Октября устраивали такие погромы русских, белорусов и украинцев, какие несравнимы ни с одним еврейским погромом в России. Они и сейчас продают наше любимое Отечество, они и сегодня шпионят и изнуляют клеветой :! склоками Советское государство. А Ирина Пушкарёва, по неразумению своему или сознательно, покрикивает на автора: не смей акцентировать!

Если уж говорить об акцентах, то ни В. Пикулью, ни журналу, ни мне сама по себе не интересна чья-то национальная принадлежность. Нам нужна историческая правда! Мы хотим знать разрушителей России. И ничего не напишешь, что в их числе были не только русские, но и еврейские живодеры. Русских мы не оправдываем и не скрываем, и это, конечно, классовый подход. Показ же еврейских — это, оказывается, подход "внеклассовый", это уже смертный грех, тут сразу мчится доктор наук, готовый кнутом критики вдоль и поперек стегать автора. И русская газета покорно подставляет ему спину, чтобы он вскарабкался на нее и сподручнее размахнулся.

Теперь-то В. Пикуля будут травить — "те персонажи" никому и ничего не прощают. Постараются зарубить отдельное издание романа. Забросают пасквилями ЦК КПСС. Найдут влиятельных союзников. Знаю это по себе, поскольку и я, грешный, писал про Арона Симановича.

Но что нам интересы тех, дореволюционных, или этих, нынешних, "персонажей"? Для нас неизмеримо важнее история нашего государства, его сегодняшний и завтрашний день, его благополучие и безопасность. Если исходить из такого критерия, то роман глубокоуважаемого Валентина Пикуля заслуживает похвалы и одобрения. Пожалуй, в своем мнении я не одинок. В Минске номера "Нашего современника" нарасхват, читатели, предвидя издательский бойкот, переплетают их для длительного хранения и даже ищут возможности ксерокопирования. Это и есть высшая оценка романа.

*Владимир Яковлевич Бегун, кандидат философских наук.  
16 августа 1979 года".*

Я привел лишь малую часть писем-откликов на роман В. Пикуля, поступивших в редакцию. Нет сомнения, что публикация их в то время, когда роман читался и обсуждался, внесла бы значительные коррективы в "официальную" критику, но... об этом нельзя было даже и подумать: цензура (а главный цензор, напомним, находился не на Китайском проезде, а на Старой площади) не пропустила бы ни одного из положительных отзывов. Еще больше прояснили бы "картину" горы писем самому Пикулью (а также анонимные звонки), воспроизвести которые печатно не представляется возможным... Нецензурная брань, угрозы физической расправы — вот содержание этих писем.

Будучи к тому времени уже серьезно больным (перенес два инфаркта), Валентин Саввич не мог обходиться без медицинской помощи... Обращаться в районную поликлинику Риги по месту жительства было опасно — такой вывод сделали настоящие его друзья. Выручили военные моряки. Они прикрепили писателя к своему госпиталю — в знак благодарности за роман о героизме моряков-североморцев в годы войны ("Реквием каравану PQ-17").

Добавлю к этому: обиженные и оскорбленные Пикулем читатели не обошли своим вниманием и меня, редактора журнала. Те из них, которые жили в одном со мной доме, предпочли давить на психику не словами, а действиями. На моем почтовом ящике вдруг появилась крупно нацарапанная свастика. Через неделю в нем обнаружился пакет с характерным (прошу простить за грубость) душком... Этот поистине новаторский метод идеологической борьбы своей низостью поначалу взбесил меня. Но через минуту-другую, представив отправителя пакета за столь деликатным занятием, я расхохотался,

торжествуя: "Вот так-то, сударь! Заставил-таки я тебя в своем дерьме копать, заставил!"

Но и мерзостное "почтовое отправление" не было последним изобретением моего палача... Ночью, когда весь дом уже спал, резко и настойчиво загремел телефон. Плохо соображая, я вскочил, взял трубку: "Алё!" В ответ ни звука. Что за черт! "Алё!" — крикнул еще раз. И, не услышав ответа, бросил трубку, лег... Только стал забываться — телефон взбесился опять. Вставать или не вставать?... Не выдержала жена, подбежала: "Алё!" Никого...

"Ага! — сообразил я. — Да это же наверняка мой инквизитор!.." Встал, снял трубку с телефона, положил ее на стол. "Н-на, звони!" — и лег. И долго не мог заснуть, представляя, как торжествовал мой недруг, слушая мои вопросительно-восклицательные "Алё, алё!.."

На следующую ночь все повторилось. А потом еще две ночи подряд. И тогда я, прежде чем лечь в кровать, поставил регулятор громкости на "ноль" (подсказал кто-то) и навалил на телефон подушку — для подстраховки. Пусть звонит, палач, пусть торжествует, думая, что я "отдыхаю" под его музыку. В конце концов, догадавшись, видимо, что я нашел противоядие его иезуитским действиям, потому как днем все-таки не сплю, а езжу в редакцию (он это наверняка видел, так как жил, убежден, в том же доме, что и я), а может быть, начав страдать от недосыпания и сам, палач "отключился".

Зато через некоторое время дал о себе знать тот, которому было дано задание организовать на редактора "НС" "компромат". И до чего же тонкий ход придумал этот бестия!

...Секретарша вместе с утренней почтой положила передо мной извещение о почтовом переводе на 500 рублей. Верчу бумажку, изучаю всесторонне и все больше недоумеваю: от кого? За что? Бывали, конечно, и раньше переводы — как правило, из редакций областных или республиканских газет, публиковавших мои стихи во время моего пребывания там по какому-либо поводу: ну, например, был в Алма-Ате на съезде писателей — и перевод из Алма-Аты. Все понятно, все ясно... А тут... Секретарша посоветовала все же пойти на почту и получить перевод, чтобы узнать хотя бы, от кого он... Пришел. Так... адрес отправителя?... вот он... Фамилия?... вот... Все на месте. А там, где на бланке указано "место для письма" — два слова: "Подробности письмом."

Вернулся, попросил секретаршу поднять все письма за последнюю неделю и поискать среди них это самое... И письмо нашлось. Читаю: "Уважаемый главный редактор! Я закончил повесть и скоро вышлю ее Вам. Конечно, она потребует редактуры, а это труд, и не малый. А за труд надо платить. Поэтому я высылаю Вам 500 рублей, как аванс. Надеюсь, Вы не осудите меня". И подпись...

Поначалу я не усмотрел подвоха в этом переводе: подумал, что это "ход конем" графомана, а может быть, даже и шизика... Но, вспомнив "пакет" в почтовом ящике и ночные телефонные звонки, понял, что он, несомненно, из того же ряда. Кипя от возмущения, схватил перо: "Вы за кого меня принимаете, сударь, пытаетесь всучить мне взятку? С презрением возвращаю Вам деньги и требую извинения за нанесенное мне оскорбление! Квитанцию, как документ, оставляю у себя."

Извинения не последовало. Как не было и рукописи от "благородного" писателя...

Каков же был финал этой шумной даже для нелитературных кругов истории? Ну, во-первых, совершенно непредсказуемым, а во-вторых, почти смешным. Но по порядку.

Прошло шесть лет (1979—1985 гг.). В жизнь страны, в ее разговорный и деловой язык этакой разбитной певчей канарейкой впорхнуло приятное по звучанию (да и по смыслу!) словечко "перестройка". А вслед за ним не менее сладкозвучные "гласность", "плюрализм"... А за этими — уже стайками: "новое мышление", "социализм с человеческим лицом", "можно все, что не запрещено"...

Ведомство на Китайском проезде, охранявшее, якобы, государственные тайны, на глазах писателей стало похоже на проснувшийся вулкан. Горячая магма арестованных в разные годы рукописей, смешавшись с книгами русской эмиграции, а позже — диссидентов, выплеснулась из кратера этого вулкана и поползла на ошарашенного читателя. Захватила, вобрала в себя эта лава и всего Солженицына, и роман Пикуля "У последней черты"...

Первым, держа, как говорится, нос по ветру, разноухал открывшиеся неожиданно возможности главный редактор журнала "Подъем" (г. Воронеж) В. Попов.

Он решил перепечатать все еще не забытый читателями роман Валентина Саввича. Окрыленный счастьем пришедшей на ум идеей, он немедленно связался с автором: "Готов перепечатать Ваш роман!"

Пикуль ответил: "Согласен, если будет восстановлено название "Нечистая сила", а набор сделан не по "Нашему современнику", а по рукописи, без малейших сокращений!" "Идет!" — согласился Попов. И приступил к делу, предварительно оповестив читателей

о своем намерении. Подписка на "Подъем" тут же подскочила в 20, а потом и в 30 раз! (На что и рассчитывал предприимчивый В. Попов.)

И вот роман В. Пикуля под настоящим своим именем "Нечистая сила" родился на свет Божий второй раз и снова пошел гулять со славой по огромному черноземному краю.

И что же? Упало небо на землю? Нет. Грянула вспышка антисемитизма? Начались погромы? Тоже нет. Правда, ушли на пенсию престарелые маразматика, закончилась "эпоха пышных похорон"... Но и это, думаю, не из-за Пикуля...

Так стоило ли Суслову, Зимянину и К° доводить себя до "экстремального положения", увидев в 1979 году печатный текст романа? Стоило ли так дрожать перед "международным сионизмом" да и своими сионистами, коим не по душе пришелся пикулевский роман?

И зачем она нужна была им, эта контора на Китайском проезде, называвшаяся официально "Главлитом", пресекавшая любые попытки аборигенов докопаться до истинных причин великих потрясений и бед, произошедших в России после 1917 года? И не она ли объективно создала идеальные условия для сокрушительной атаки международных мондиалистских и масонских сил на Советское государство и компартию? И они рухнули, взорванные изнутри теми силами, о существовании которых "Главлит" все 70 лет не допускал в публикациях даже малейших намеков...

## XI

О "НС" конца семидесятых годов можно с удовлетворением сказать: его читали! На него подписывались! Желающих иметь умного и смелого собеседника в собственном доме прибавлялось с каждым годом. И это красноречиво свидетельствовало о том, что народ, как бы ему ни пудрили мозги, всегда способен отличить зерно от мякины. Как к этому относились деятели идеологического фронта, по-моему, ясно. Журнал их раздражал и даже злил. И это не просто слова. И нужно было, как говорится, прижать ему хвост. Но как? Нанести удар впрямую, открыто, означало бы разоблачить себя не только в глазах писателей, но и читателей. А читатели — это народ! Нет, надо было придумать журнал втихую, так, чтобы неискушенные в политике читатели и не заметили этого.

Оговорюсь: я не партию обвиняю во всем, что было подлого в отношениях ее функционеров с "НС", — обвиняю людей, которые тогда в ней верховодили. Нет, не партии, не ее высоким целям служили они — а коварной, мощной закулисе, преследовавшей, как теперь стало ясно, свои интересы, прямо противоположные интересам народа.

Журнал, работающий на пробуждение национального сознания народа, его достоинства и чести, воспитывающий в соотечественниках чувство любви к Родине, патриотизм — "интернационалистам" был не нужен.

Уже на 1980 год, сразу после публикации романа В. Пикуля, подписка на "НС" ими была резко ограничена. Письмо, которое я приведу ниже (а такие письма шли со всех концов страны), подтверждает это: "Наша семья с нетерпением ждет выхода каждого номера Вашего журнала, читаем его не только мы, но и все наши родственники, по очереди. Радостным для нас был день, когда моя жена, работающая в Управлении "Тулстроймашавтоматизация", принесла квитанцию, гарантирующую нам еще один год общения с "Нашим современником". Но радость была недолгой. Тульское отделение "Союзпечати" письменно вызвало мою жену и потребовало сдать оплаченную квитанцию: мол, все равно в 1980 году "Наш современник" вы получать не будете. Жена квитанцию не сдала. Мы просим вас разобраться в этом вопиющем безобразии и помочь нам отстоять подписку на любимый журнал.

С уважением Лобанов Н. А. — начальник бюро капитального строительства Тульского комбайнового завода (Тула, Первомайская ул.). 23 ноября 1979 г."

Другой читатель сообщил, что он не пошел на почту по вызову, и тогда почта вернула ему деньги переводом. Двое других наших почитателей дерзнули оформить подписку через нашу редакцию и прислали деньги в конвертах. Увы, деньги пришлось вернуть...

Дикие случаи, согласен. Не слышал, что бы вот так же вот был схвачен за горло и душился какой-то еще журнал. Наоборот: "Юности", например, ЦК пожаловал двухмиллионный тираж! Там были свои ребята... Как не порадеть?!

И все же, несмотря на все ухищрения наших недоброжелателей, подписчики не уступили, не сдались. На 1981—1982 гг. уровень подписки сохранился: 335 тысяч! Зато на 1983 год одним росчерком цековского пера (работал там у нас "свой" человек!) журнал был строго замимитирован на уровне 200 тысяч экземпляров.

Одновременно урезан был и объем журнала — на целый печатный лист (а это 16 полос!).

А. Гаврилов — инструктор отдела пропаганды ЦК, исполнявший нелепый, а по отношению к "НС" явно дискриминационный, приказ, то и дело повторял:

— Приказано создать резерв бумаги для печатания книг молодых писателей.  
— Кто такую трогательную заботу о молодых проявил? Союз писателей? — горячился я.  
— Тяжелыников, дорогой Сергей Васильевич... Новый заведующий отделом пропаганды... Надеюсь, знаете такого? — многозначительно отвечал инструктор.  
— Знаю... любимчик Леонида Ильича... Но вы должны были сказать ему, что "НС" и без того "урезанный". Среди "толстых" журналов он самый "тонкий". На 48 полос в нем меньше, чем в "Знамени", на 80, чем в "Новом мире", на 24 и 16, чем в "Москве" и "Октябре". Секретариат СП России давно ходатайствует о выравнивании объема "НС" хотя бы с "Октябрем" — тоже российским журналом. И ему это обещано... А вы что делаете? Грабите нищего!.. И кроме того, "НС" — единственный из московских журналов — печатается на газетной, самой низкосортной бумаге, и книжным издательствам такая бумага не нужна.

А. Гаврилов продолжал твердить:

— Не вас одних урезаем — всех... — и прятал при этом глаза.

Скоре выяснилось: "НС" все-таки урезали, остальных только погугали... Так нам было дано понять, что для журнала, печатающего "антисемитские" романы, велик и этот объем... Все другие публикации, пополнившие "золотой запас" русской литературы, сбрасывались со счетов. А в числе этих других было уже более десятка произведений, удостоенных Государственных премий, союзного и даже мирового признания.

Сегодня "демократические" СМИ настойчиво внушают молодому поколению, что произведения, созданные за "годы тоталитаризма" и "застоя" — это не литература. Нет нужды спорить с обладателями "нового мышления", достаточно спросить их: а почему же эту "нелитературу" переводили на все языки мира? Да потому что она давала возможность западному читателю еще раз задуматься над "загадкой русской души", а может быть, и постичь ее...

## ХИ

...Слова на титульном листе "НС" "Орган Союза писателей РСФСР" означали только одно: журнал находится на попечении секретариата правления СП РСФСР и главный редактор подотчетен ему. А поскольку Правление возглавлял С. В. Михалков — значит, в первую голову, Михалкову.

Какие отношения были у меня с Сергеем Владимировичем? К сожалению, только официальные. Он, видимо, не успевал прочитывать журнал и потому вспоминал о нем только тогда, когда о какой-нибудь публикации начинала шуметь пресса, включался в дело отдел культуры ЦК КПСС. Любое замечание из отдела, а тем более критику он принимал как директиву к немедленному реагированию. А если критикуемый материал задевал и его интересы, пусть даже не напрямую, косвенно, он действовал особенно напористо, в полном контакте с ЦК. Делать это не представляло для него никакого труда, так как он, что называется, ногой открывал дверь в любой кабинет на Старой площади, как именитый поэт, автор Гимна страны — такой в государстве всегда один!..

...В шестой книжке "НС" (1980 г.) мы напечатали статью молодого писателя, редактора издательства "Молодая гвардия" Николая Машовца под весьма многозначительным названием "Тревожность очевидного" (с подзаголовком "Идеологические заметки"). Что было главным в этой статье? Тревога! Тревога за страну, за советскую власть, за партию, наконец... И что особенно возмущало автора: все видят грозные симптомы загнивания системы и... не замечают их или делают вид, что не замечают.

Сейчас-то это просто понять и объяснить: до начала "перестройки" оставалось пять лет, и "архитекторы" ее ("агенты влияния") делали все, чтобы подвести народ к осознанию необходимости крутых поворотов, о которых знали пока только они.

Возмущало Н. Машовца положение, сложившееся в литературе для детей. "Жизнь "малышовой" литературы, — в подтверждение своего взгляда цитировал Машовец статью из "Правды", — отмечена келейностью, ее проблемы, ее успехи и неудачи весьма редко становятся предметом общественных суждений..." А между тем идейно-художественный уровень и книг для детей, и учебников очень низок. И автор справедливо задавался вопросом: "Так вправе ли мы миллионными тиражами множить серость и банальность? Кому это может быть выгодно?" Серьезный вопрос. И он не мог не встревожить Сергея Владимировича, не ударить по его самолюбию: Михалков в то время был патриархом в детской литературе, непререкаемым авторитетом в ней.

Резкой критике подверг Н. Машовец и шестнадцатую полосу "Литгазеты", на которой под видом юмора высмеивались героические страницы истории России; взволнованно

и убедительно говорил он о разлагающем влиянии на нашу молодежь массовой культуры через телевидение, эстраду, кинематограф...

По поводу одного из телефильмов бывший узник концлагеря Бухенвальд К. И. Леонов в "Комсомольской правде" высказался так (и Машовец привел в своей статье это высказывание):

"Особенно опасны и вредны различные фальсификации истории, в том числе кинофильмы, подобные американскому "Холокауст"... Наряду с показом трагедии гибели миллионов людей этот фильм искажает историю, представляя единственными жертвами фашизма только евреев, и ничего не говорит о многих миллионах людей других национальностей, в том числе и советских людей (теперь бы написали — "русских людей". — С. В.), которые погибли в фашистских застенках".

"Складывается впечатление, — подводил итог своим тревожным мыслям Н. Машовец в конце статьи, — что в стране есть силы, которые... стремятся внушить нам мысль, что идеологическая борьба, о которой мы так много говорим, идет где-то там, за кордоном, и к нашему культурному быту не имеет прямого отношения".

С таким утверждением автор был категорически не согласен! Я, как редактор, тоже... Не прошло и десяти дней после выхода в свет шестого номера, как мне позвонил С. В. Михалков и в крайне раздраженном тоне стал говорить о статье Н. Машовца (воспроизвожу запись из дневника):

— Ну зачем, зачем вы ее напечатали? О детской литературе — разве можно так? Леонид Ильич Брежнев сказал, что у нас лучшая в мире литература для детей. А вы?... У нас прекрасные детские писатели — Барто, Алексин, Коринец...

— В детской литературе, — отвечал я, — как и в литературе взрослой, есть хорошие писатели, есть и плохие. Мы имеем в виду плохих.

— Так и надо было это написать. А вы даже не оговорились... И еще: зачем вы нападаете на 16-ю страницу "Литературки"? Юмор, сатира — такой трудный жанр, а вы, не считаясь с этим, лупите газету!.. Все недовольны этой статьей. Мне и Верченко звонил: возмущен!

— Ну, Верченко еще не пуп земли! — вырвалось у меня. — О детской литературе должны судить специалисты.

— Ну, вот я, Михалков, специалист и говорю тебе то же самое.

— Это другое дело... Вас я готов слушать...

Тут же, едва закончив разговор со мной, Сергей Владимирович набрал телефон Верченко: "Викулов сказал, что Верченко не пуп земли, чтобы его слушать". В кабинете Юрия Николаевича в это время сидел Феликс Кузнецов — он потом и рассказал мне об этом...

В пятницу, 11 июля, вечером снова раздался звонок: опять Михалков. Я было взъершился, но тут же осел, успокоился: на сей раз председатель говорил без раздражения, спокойно. Начал с того, что предложил мне рукопись некой Ангарской — то ли жены, то ли любовницы покойного Всеволода Вишневского (потом я понял, что это было лишь удобным заповом к главному разговору).

— Ангарская написала книгу о Вишневском, — растолковывал мне председатель. — Около 140 страниц на машинке. Это не столько воспоминания (хотя ей есть что вспомнить: у нее около двух тысяч писем от Вишневского), сколько мысли самого Вишневского о литературе, о времени, о стране...

— Я понял, Сергей Владимирович. Пусть пришлет рукопись, посмотрю.

Но Михалков продолжил:

— Это очень патриотическая, партийная рукопись. Если ты ее напечатаешь — загладишь многие вины, числящиеся за тобой.

"Дешево покупает меня председатель!" — подумал я. А вслух еще раз повторил:

— Пусть присылает, посмотрю.

— Ну хорошо, договорились, — закончил Михалков "темой" Ангарской. И тут же переключился на статью Машовца. — А все-таки зря вы ее напечатали. Это не я один говорю. Статьей недовольны и Георгий Мокеевич Марков, и Шауро, и Беляев, и оба **министерства культуры**. ("Ого!" — произнес я тут про себя.) Партийные, большие люди! Понял?... В чем ошибочность статьи? Автор утверждает, что в СССР идет идейная борьба. Наоборот: наше общество монолитно, как никогда! (Ах, Сергей Владимирович, неужели Вы тогда верили еще в это?)

Это западным советологам кажется, что в СССР идет внутренняя идеологическая борьба. И вы своей статьей льете воду на их мельницу... Да, у нас есть проявления групповщины, но отнюдь не идеологические разногласия в ее основе. Просто каждый воюет за свое место под солнцем — вот и все. И еще вкусовщина сказывается... Вот вы и о международных премиях высказались неправильно. Разве это плохо, когда нашим фильмам дают премии на фестивалях? (Замечу в скобках, если бы такой вопрос Сергей Владимирович задал мне сегодня, я бы не задумываясь ответил: — Смотря каким... Фильму "Утомленные солнцем" Никиты Михалкова премию дали зря. Дали не за высокие

искусство — за осквернение всего, что было воспето Вами в Гимне. Феноменальный случай! Лично мне фильм этот интересен только лишь тем, что красноречиво опровергает Ваше, Сергей Владимирович, не столь давнее утверждение о том, что в СССР идеологической борьбы не было. Была, Сергей Владимирович... Фильм "Утомленные солнцем" как раз и явился еще одним выражением этой борьбы.)

Далее, — продолжал С. Михалков, — разве плохо, что Анатолий Алексин тоже получил премию (к сожалению, я не уловил, какую и от кого), как выдающийся детский писатель. (Потеряли мы "выдающегося": уехал на родину предков, в Израиль.) Еще раз скажу тебе, как главному редактору журнала: у нас нет идеологической борьбы, у нас прекрасный идеологический климат. А от статьи Машовца остается впечатление: надо опускать железный занавес и кричать: "Караул! Нас заела буржуазная культура!"

— Неужели только такой вывод можно сделать из статьи Машовца? Неужели не чувствуется в ней боль и тревога гражданина и патриота за судьбу своей страны? — с грустью, а больше с недоумением сказал я в ответ на длинную нотацию Председателя.

Сергей Владимирович начал сильно заикаться, и мне долго пришлось ждать, пока он выговорил:

— Н-надо б-было н-не так все сформулировать...

А как — не так? Тогда я не задумался над этим, но сегодня... Сегодня очень хочу понять, что в статье Н. Машовца было "сформулировано" не так? Что привело в раздражение "больших партийных людей" из ЦП, из обоих министерств культуры и ЦК?... Не критика же "16-й полосы" "Литгазеты" и не реклама "женщины, которая поет", и даже не намек на "келейность" в издании книжек для детей?... Тогда что же?

Перечитал статью и понял: вот это!.. Ничего другого, что могло вызвать раздражение "больших партийных людей", как их назвал Михалков, в статье нет. Итак...

Сообщив о том, что издательство "Прогресс" двумя изданиями выпустило книгу французского архитектора Ле Корбюзье "Архитектура XX века", Н. Машовец в связи с этим добавил: "Ле Корбюзье был членом масонской ложи "Звезда Востока". И продолжил: "масонство... на нынешнем историческом этапе стало **опаснейшим тайным объединением** (выделено мной. — С. В.) финансово-монополистического капитала, проводящим **антикоммунистическую, антидемократическую политику** и не скрывающим своей исторической и практической связи с **иудейскими догматами**. Масонство ведет прямую подрывную деятельность против демократических сил **во всех странах**, является могучим орудием капитала во внешней и внутренней политике своих стран, использует в своей деятельности самые грязные политические методы".

Серьезные выводы, ничего не скажешь... А между тем в советской печати в ту пору (а в "демократической" — и сейчас) если и говорилось что-нибудь о масонах, то только в ироническом плане... Только в ироническом! А мы, чудачки, всерьез... Ха!

...Рукопись Ангарской (выборочно) журнал напечатал. Однако я, как главный редактор, "многие вины" свои все равно не "загладил". Наоборот, к старым добавил новые, опубликовав роман Михаила Алексеева "Драчуны" и повесть Владимира Крупина "Сороковой день". На ту и на другую публикацию, как гончие псы на зайца, набросились мои "заботники" из критического цеха Союза писателей, зачислив оба произведения в разряд чуть ли не антисоветских. Но об этом — разговор ниже.

### XIII

— Ай, Моська, знать, она сильна, копь лает на слона! — невольно воскликнул я, пробежав глазами в журнале "Коммунист" реплику по поводу только что вышедшей из печати третьей книги "НС" за 1981 год. "Слоном" в данном случае представился мне Владимир Алексеевич Солоухин — один из любимых читателями авторов нашего журнала, а "моськой" — некий Крывелев Иосиф Аронович, опубликовавший свой опус в журнале ЦК КПСС.

Что же не понравилось Иосифу Ароновичу в свежем номере "НС"? "Камушки на ладони" В. Солоухина — вот что. Тем, кто не читал эту своеобразную книгу Владимира Алексеевича, поясню: она составлена не из повестей и не из рассказов, а из множества предельно лаконичных записей счастливо мелькнувших мыслей, диалогов, любопытных фактов, случаев, а иногда и просто раздумий о жизни, о всем сущем на свете, о тайнах мироздания. Жанр не новый, любимый многими русскими классиками, в том числе Л. Толстым, Ф. Достоевским, И. Тургеневым, И. Буниным, а в наше время, кроме В. Солоухина, Ю. Бондаревым, О. Кожуховой...

Так вот, в данной солоухинской публикации (кстати, не первой из подобного рода в "НС") среди 98 "камушков", многоцветных по мысли и причудливых по форме, "моську" возмутил, удивил, раззадорил вот этот (на журнальной странице он уложился в 12 строк):

"В двадцатом веке для каждого здравомыслящего человека нет сомнений в том, что на свете, во Вселенной, в разнообразии жизни существует высшее разумное начало.

Иначе пришлось бы допустить, что такая сложная и точная организация, как цветок (растение), птица, человек, человеческий мозг, наконец, появились в результате случайно-счастливого, слепого и беспрограммного соединения химических элементов, молекул, атомов. Но не могли же слепу самосконструироваться такие точнейшие и сложнейшие приборы, как почки, сердце, щитовидная железа, барабанная перепонка, глаз, не говоря уж о хромосомах. Все это действует по разумным законам математики, химии, физики...

Вопрос состоит не в том, существует ли высший разум, а в том, знает ли он про меня и есть ли ему до меня хоть какое-нибудь дело?"

Мысль — она и есть мысль. Подчас она бывает расплывчата, как силуэт в тумане, подчас — почти невыразима. Но писатель — на то он и писатель, чтобы, как говорится, поймать ее "за хвост" и выразить словами, материализовать. И тут он — Бог и царь. И никто не может позволить себе дернуть его в эту минуту за рукав и тявкнуть: "Не о том думаешь и не так!"

Но "моська" в лице Иосифа Ароновича действовала, как моська, потому что она давно уже знала про себя — сильна! — и, значит, имела право обляпать задумавшегося "слона". Мысль Солоухина о том, что "существует высший разум", Кривелеву показалась не чем иным, как открытой пропагандой веры в Бога. И это, — слышалось из его реплики, — после полувековой борьбы с церковью, борьбы, осуществлявшейся "воинствующими безбожниками" во главе с рыцарем атеизма Ем. Ярославским (Губельманом), борьбы, закончившейся насильственным отлучением от церкви русского православного народа, полным разрушением или закрытием тысяч церквей, монастырей и храмов (в том числе и Храма Христа Спасителя, построенного на народные пожертвования в честь победы над Наполеоном в Отечественной войне 1812 года).

В наши дни — о ужас! — храм восстанавливается. (Не знаю, как пережил этот "кошмар" Кривелев. И пережил ли...)

Каждый день телевидение на фоне рушащихся от взрыва куполов храма (кинохроника) с надрывом, со слезами в голосе произносит: "...и был разрушен в одно мгновение". Кем разрушен? Самим русским народом? Ведь можно подумать и так, слыша рыдающий голос за кадром... Но мог ли русский народ поднять руку на свою национальную святыню? Никогда!

...Ах, большевики разрушили? Ну, а откуда они взялись и кто их, большевиков, придумал-то? Лапотные мужики, окопные солдаты, сибирские охотники?... Сказать "большевики" и только — значит, не сказать ничего...

...Кривелев писал (пересказываю по памяти): Солоухин, а вместе с ним и журнал "Наш современник" снова "заигрывают с Боженькой". И что самое возмутительное, — негодовал он, — партийная организация журнала никак не реагирует на пропаганду вредной для нас идеологии...

Прочитали реплику Кривелева и сотрудники редакции. Реагировали все одинаково: тяжело вздохнув, разводили руками... И тут же забывали о прочитанном... Забыл и я. Но не прошло и двух недель, мне напомнили на Старой площади: на критику надо отвечать. А если она прозвучала со страниц партийной печати — тем более. И потому правильно было бы обсудить письмо Кривелева на партсобрании, признать свою ошибку и сообщить об этом "Коммунисту".

Я не стал возражать. И все-таки партсобрания по столь глупейшему поводу мы не проводили. Но ответ — какой нужен был журналу — написали, и "Коммунист" опубликовал его. Моськи, наверное, были довольны. В дружном облаивании журнала "Наш современник", начавшемся после публикации "антисемитского" романа В. Пикуля "У последней черты", их визгливый голос не был лишним.

*(Окончание следует)*



СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

## ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ...

### XIV

Воистину, земля наполнилась слухами: "Голод!.. В России голод!.." Особенно в Поволжье, на Украине и где-то еще, но я, по молодости лет, не имел ясного представления о тех краях, понимал одно: голод там, где теплее, чем у нас... На юге. А в наших северных деревнях все прибавлялось и прибавлялось нищих — изможденных баб, мужиков — робких, мелко крестящихся, потупленных, бледнолицых... От них и узнавали о страшной беде наши матери и отцы: "На Волге голод..." Люди съели все сколько-нибудь подходящие травы, съели всех собак и кошек, сусликов и крыс, ворон и грачей, едят падаль и — что самое страшное — дошло до людоедства... И умирают, умирают... Целыми семьями, целыми деревнями... Умирают — некому хоронить...

...А шел 1933 год. Третий год колхозной (артельной) жизни... И откуда он взялся, этот страшный и беспощадный враг — голод?.. Ведь когда "записывали" в колхоз, тем и соблазняли: станете вместе жить — ни пожар вам не страшен будет, ни голод — колхоз выручит, советская власть поможет. На это и уповали, тем более что урожай 1932 года был, можно сказать, не плохой. А кроме того, и кулаки уже были ликвидированы — и, значит, не вредили, не вставляли палки в колеса...

Но... голод! И помощи — никакой. Ни от советской власти, ни тем более от колхоза: власть вымела из колхозных сусеков хлеб нового урожая, подчистую, до зернышка... И никаких чрезвычайных мер, никаких комиссий, обследований: деревни умирали, как умирает тяжело раненный солдат на нейтральной полосе: некого окликнуть, некого позвать...

Мише Алексееву — будущему писателю — в то время шел шестнадцатый год. Село Монастырское на Волге (ныне Саратовская область), в котором довелось ему родиться, тоже вымирало от голода. Как выжил он сам, можно только удивляться: в семье было более десяти ребятишек — мал мала меньше, отец, под видом заработков на стороне, семью бросил, а мать заболела и умерла.

Миша выдюжил. Выучился. Воевал. Стал писателем.

Один за другим из-под его пера выходят романы "Солдаты", "Дивизионка", "Вишневый омут", "Хлеб — имя существительное", "Карюха", но главный роман — роман о великом море, постигшем народ в 1933 году, — оставался ненаписанным... Как-то само собой сложилось убеждение (таков был воздух времени), что тема эта для литераторов закрыта, да и для историков — тоже. А почему — многие даже и не задумывались... Тем более что были и другие закрытые темы, были...

Но Михаил Алексеев — очевидец той трагедии — не мог с этим смириться. Чем дальше уходило то время, тем неотступней и яростней совесть толкала его к перу. И он плюнул на негласный запрет и начал, как тот летописец, свое "последнее сказанье"... Дойдя до самых жутких сцен (до людоедства) и предвидя решительное "нет" запретителей, а точнее тайнохранителей, счел необходимым заранее объясниться с ними, написал:

"В тридцать третьем начался второй на моей памяти голод, он был, пожалуй, пострашнее предшествующего, хотя и **не был вызван засухой** (здесь и далее выделено мной. — С. В.) — этой извечной злой мачехой земли. Признаться, и теперь я еще пытаюсь уразуметь происхождение этого голода. Урожай в тридцать втором году был если не самым богатым, то, во всяком случае, неплохим. Колхозники нашего села, получивши по сто граммов на трудодень в качестве аванса, надеялись получить еще

по килограмму позднее, при окончательном расчете с государством. Надежда эта, однако ж, рухнула, когда нежданно-негаданно объявился "встречный план" по хлебозаготовкам, который **неумеренным усердием местных властей и малограмотных активистов** (пришлось тут слукавить Михаилу Николаевичу. — С. В.) подмел артельные сусеки до последней зернинки, оставив людей без хлеба, а лошадей колхозных без фуража.

Тридцать третий год остался и останется в памяти моей самой ужасной отметиной. И как ни тяжело и ни горько вспоминать о нем, я все-таки обязан сделать это..."

Было в этом объяснении сказано и то, что голодала не только Саратовщина, но и весь Нижневолжский край, в который тогда входили Астраханская, Пензенская и Ульяновская области; голодали Ставрополье, Украина, Южный Урал, Западная Сибирь, Северный Казахстан (русское население, в основном)...

Забегая вперед, скажу, что цензура это перечисление вычеркнула. Нетрудно понять, почему... Но она не вычеркнула главного: **"...голод... не был вызван засухой... урожай в тридцать второй был неплохим... я и теперь еще пытаюсь уразуметь происхождение этого голода"**.

В этих словах не что иное, как прямой намек на то, что голод 1933 года был "организован". Кем? В чьих интересах? На эти вопросы в романе нет ответа. А если бы он был — рукопись, наверное, так и осталась бы в столе писателя...

Роман был закончен в начале 1981 года. Первым, кому судьба указала решать, печатать его или не печатать, оказался я: рукопись Михаил Николаевич принес в "НС". Зная до сих пор о голоде 1933 года только понаслышке, я был буквально потрясен народной трагедией, разыгравшейся в срединной России в тот год. Еще раз подчеркну, — а имеющий голову да уразумет: **через три года после ликвидации кулачества, а по сути дела — уничтожения (физического!) лучшей части земледельцев — действия, убежден, преднамеренного, по беспощадности ничем не уступающего тем, какие предпринимали в древности победители по отношению к побежденному народу.** Лет через пять писатель Борис Можжевель принесет в редакцию "НС" роман и о той трагедии... И я еще буду говорить о нем. Ну а сейчас передо мной лежало сочинение Михаила Алексеева под названием "Драчуны". Прочитав его, я без колебаний решил: печатать! Хотя понимал, что сделать это будет не просто. Тайнохранители (а я, слава Богу, к тому времени имел уже полное представление о них) наверняка будут шокированы такими вот сценами:

**"...возле водочного завода... в котловане колобродила барда (выделено мной. — С. В.). С десятков мужиков, баб и подростков, толкаясь, черпали из него (кто ведром, кто большим ковшом, кто чем) содержимое и накладывали в мешки... Не помню, чтобы барда спасла кого-нибудь от голодной смерти. Карпушка, который первым обнаружил ее, уцелел, но и то лишь потому, что... "душа не приняла" вонючей мерзости, вывернувшись, по его же словам, "аж наизнанку", а не то "валиться бы Карпу Иванычу на "дороге смерти", как вскоре нарекли люди проселок от Монастырского до Баланды".**

Умер вскоре и дедушка Миши Алексеева.

**"...к глубокой могиле, приготовленной для дедушки, отовсюду потянулись тележки с умершими. Не имея сил вырыть хотя бы неглубокую ямку, люди просили, умоляли моего отца, чтобы он разрешил положить покойника в дедову могилу. Могильщики приступили было к закапыванию могилы, те, что были рядом, успели уже бросить по щепотке земли в нее, когда братья Жуковы, Федька и Ванька, привезли на тележке Григория Яковлевича. Для него, так же обернутого тряпьем, отыскалось местечко в самом верхнем ряду."**

Из сверстников рассказчика одним из первых умер лучший ученик класса, тоже Миша. Хоронили всей школой.

"На кладбище вырытую для Миши могилку охраняли комсомольцы, иначе она была бы завалена другими телами раньше, чем дошла бы сюда наша траурная процессия. Мертвых было нанесено и навезено отовсюду, и теперь родственники только ждали, когда им разрешат опустить их в свежую яму.

Поверх всех был положен Микраи Земсков. Его увидели в последнюю минуту в канаве, огораживающей кладбище. Подумалось почему-то: не сам ли он дополз сюда, чтобы не обременять других, и покорно, безропотно, как поступал всегда, отдал Богу свою младенчески невинную, безгрешную душу..."

Особенно жалко было малых ребятишек, матери и отцы которых умерли раньше, чем они. По наущению директора школы ученики **"...разошлись по селу, и к вечеру каждая группа привела и принесла на руках по несколько ребятишек, подобранных в заброшенных домах, в одичавших дворах и огородах; некоторых отыскивали в густых зарослях лебеды, крапивы и горьких лопухов, — находили там по слабому писку"**.

И вот финал трагедии: **"...в селе, насчитывавшем шестьсот домов, осталось сто пятьдесят. Часть их сожжена еще в тридцатом, но то была все-таки малая часть, а большая была проглочена печами прошлой зимой, когда у людей не было ни сил, ни воли привезти на салазках дрова из лесу..."**

Исчезло 450 домов... В них жили люди... В каждой семье по пять, семь, десять ребятишек...

Роман по объему был довольно большим. Прикинув наши возможности, решили печатать его в трех номерах — в шестом, седьмом, восьмом. Первые два номера особых затруднений с прохождением через цензуру не предвещали. А вот третий...

Приведенные выше цитаты мною взяты как раз из него. Верстку этого номера редакция должна была доставить цензору во второй половине июля, числа двадцатого. А у меня на июль выпал отпуск. И потому все, что было дальше, я узнал лишь по возвращении в Москву.

Восьмой номер цензор не подписал, потребовал снять все, что касалось голода 1933 года. Юрий Селезнев, мой заместитель, на это, конечно, не пошел. Да и не имел он права выбрасывать что-нибудь из текста романа без согласования с автором. Послал телеграмму Михаилу Николаевичу (он отдыхал в родном селе Монастырском): "Срочно приезжайте в журнал". М. Алексеев примчался на первом же подвернувшемся самолете. Догадался: Главлит не пропускает последнюю часть романа...

Как депутат, попросил аудиенции у главного цензора, потому как понимал, что последнее слово все равно будет за ним. П. К. Романов неохотно, но все же согласился его принять...

"Наутро, — рассказывал мне Михаил Николаевич, — вместе с Селезневым вошли в кабинет Романа. Там уже собрался весь цензорский синклит. Перед главным — стопа книг, увенчанная самым последним изданием "Краткого курса Истории ВКП(б)".

— Покажите мне, Алексеев, где тут сказано о голоде 33-го года? — взяв "Историю", произнес Романов.

— В том-то и дело, что нигде. Если б было сказано, я, может быть, и романа не стал бы писать. А то ведь начисто замолчали величайшую трагедию нашего народа. Ведь миллионы... — Тут я спросил Романа:

— А помните, Павел Константинович, вы же сами мне рассказывали о том, как на перроне Харьковского вокзала видели десятки умирающих от голода. Как раз в том, 33-м?

— Видел... — он тяжело вздохнул. — Теперь же я обязан придерживаться официальной точки зрения. Официальной версии.

Я продолжил:

— Если б голод охватил одну мою Саратовскую область, а то ведь голодала половина России, Казахстан, Украина... Сколько же можно об этом молчать?

— Вот этого перечисления вам и не следовало бы делать! — твердо сказал цензор.

— Почему?

— Да потому... — удивленный моей наивностью, ответил Романов.

— Хорошо... Уберу перечисление, если только в нем дело. Пускай мой маленький герой рассказывает только то, что было в его селе... — Я не успел договорить, как поднялся один из замов главного цензора Солодин Владимир Алексеевич:

— Разрешите, Павел Константинович, нам с Алексеевым и Селезневым уединиться в моем кабинете, сделаем все, как надо.

Мне показалось, что и Романов, и его помощники очень обрадовались столь обнадеживающему и неожиданному предложению.

— Давайте!.. — согласился главный и протянул рукопись Солодину.

Уединение длилось около часа. Пришлось убрать несколько самых непроходимых, с точки зрения Солодина, сцен, в том числе, разумеется, — людоедство... ну и перечисление областей, краев, охваченных голодом, — тоже...

И все-таки это была победа!"

Через месяц, в девятом номере (1981 г.), "Наш современник" завершил публикацию "Драчунов". Роман вышел. И стал бестселлером тех лет. Еще бы! Впервые в открытой печати рассказывалось о голоде тридцать третьего года. Без вымыслов и умолчаний, по памяти прошедшего эту адскую купель человека!

\* \* \*

Почти полвека минуло после голода 1933 года. Можно было предположить, что свидетелей его в живых уже и не осталось: вон как они, "свидетели", вымирали-то — целыми селами, районами, краями. А кто и выжил — так воевать потом пошел. А война тоже не миловала... Наверное, Михаил Алексеев думал и об этом, водя пером по бумаге; думал о великом долге перед умершими в муках голода, о тяжелом, но святом хребте, выпавшем ему... У тех, кто выжил, но потерял в тот год родителей, братьев, сестер, — все эти полвека душа болела, и не только от жалости к невинно погибшим, но и от длящегося бесконечно заговора молчания...

Не надо быть слишком грамотным и осведомленным, чтобы сделать вывод: раз власть молчит о том голоде, значит, чувствует свою вину... Молчала десятилетиями

советская власть — это понятно: при ней случилась трагедия. Но вот Советы приказали долго жить... К власти пришли демократы, но молчат и они. О репрессиях зудят непрерывно, именую их "сталинскими", о лагерях и расстрелах — тоже, а вот о том, что в 1933 году от голода умерло около 7 миллионов человек (и эту цифру никто не опроверг!), помалкивают.

По утверждению демократов, во всем, что было ужасного за 70 лет после Октябрьского переворота, виноваты большевики. И это правда. Но, извините, не вся! У большевиков были фамилии. Их роль в подготовке и совершении революции, а потом — в "великом переломе", ликвидации кулачества на основе сплошной коллективизации описана даже в учебниках — школьных и вузовских, не говоря уж о тяжелых томах академиков и докторов исторических наук.

Но вот об их роли в организации голода в 1933 году (народ убежден, что голод был организован, и никто не попытался даже развеять это убеждение), о мотивах совершенного ими преступления, о конкретных действиях каждого из большевиков — руководителей государства в том году — нигде ни слова. Семь миллионов человек умерли в муках голода! Памятник хотя бы им поставили — нет... Популярная фраза: "Никто не забыт, ничто не забыто" — к этим миллионам, выходит, не относится... Но почему? Не потому ли, что это были лапотные мужики?... Люди второго сорта?

Вполне возможно. Но, думаю, еще и потому, что вымирал-то коренной народ, народ центральной России, а его, по мнению тайных ее ненавистников, слишком много. Безлюдную Россию легче прибрать к рукам. Потому, если появляется возможность сократить численность русского народа, она, можете быть уверены, не будет упущена.

Подтверждением тому — наши дни: смертность в России уже несколько лет подряд превышает рождаемость. Русский народ вымирает. Причин — много. Их видят все. О них говорит (даже кричит!) оппозиция. "Демократы" молчат. Почему?

Но вернусь к роману "Драчуны".

Официальная пресса особого интереса к нему не проявила: это был опять тот самый случай, когда выгоднее было роман "замолчать", чем разругать его... Зато люди, и в первую очередь те, кто пережил голод, читали книгу, волнуясь и вспоминая, а многие, дочитав, брались за перо и выводили дрожащей рукой слова благодарности автору романа: "Наконец-то нашелся смелый человек и рассказал о пережитом нами!"

Я приведу хотя бы малую часть из писем, присланных М. Н. Алексееву, чтобы читатели-современники, содрогнувшись, поняли, что хотели утаить от народа, вычеркнуть из истории находившиеся у власти интернационалисты и почему.

В. Н. Сударушкин, земляк писателя, подробнее, чем другие, сообщил: "Я тоже из Саратовской области. В 1933 году мне было 7 лет. Сейчас моя деревня Пяша, Бековского района, относится к Пензенской области... Прошло полвека — о погибших в 1933 году ни слова. Вы первый написали... Я помню, как почти вымерло наше село. Помню, как несколько мужиков на двух-трех подводах, еле волоча ноги, собирали каждое утро по селу мертвецов и навалом клали на подводы, и этот страшный груз — трупы женщин, детей, мужчин — через все село везли на кладбище... Полумертвые возницы (за эту работу им давали до 2 кг зерна) копали мелкую общую яму, сбрасывали трупы и кое-как заваливали землей. Было жарко. Земля над ямой "дышала". Трупный смрад стоял на многие версты. И так каждое утро. Люди тупели от голода. Исчезало все человеческое. Убивали друг друга за хвостик моркови, за одну картофелину. Равнодушно встречали смерть соседей, родных, — каждый едва двигался, лица, ноги страшно отекали, сознание было сумеречным..."

Что же это было? Почему так произошло? Почему никаких мер не принимали? (везде выделено мной. — С. В.). Кто виноват в этом?... Досадно, что нигде не упоминается в нашей истории об этой великой беде. Некоторые писатели, желая изобразить зверства войны, обязательно упомянут Орадур, Лидице, Хатынь, Бабий Яр. А 1933 год — это же тысячи Орадуров! Люди умирали в страшных муках, намного тяжелее, чем сраженные в бою. По сути, они испытали мучительные пытки и казнь голодом".

Фисенко М. З., Ставропольский край, г. Усть-Джегуба, вспоминает не менее ужасные детали трагедии: "Мое родное село Султан, Ставропольского края... Помню тридцать третий год... В нашей семье четверо детей... Ели крапиву, пастушью сумку, конский щавель, свинушки и другие травы... Умерших не успевали хорошо закопать... Собаки вытаскивали и приносили во двор ногу, руку..."

Письмо без подписи из г. Шепетовки:

"Только что закончил читать "Драчуны" и... заплакал. Как все знакомо... Через все, что Вы написали в "Драчунах", прошла наша семья: шесть гробов вынесла из хаты моя мать в тот страшный год... Оказывается, Пиночеты и Пол Поты у нас родились раньше, чем в Чили и Камбодже. Кто они? Их надо назвать поименно! (выделено мной. — С. В.). В Вашем селе это были Воронины и Зубановы, в нашем Шмойловы и Скрыбины... Но

они были только исполнителями. **А настоящие преступники сидели выше.** Вот их-то мы пока и боимся назвать... Это они направляли **Ворониных и Зубановых к уничтожению собственного народа. Это они были организаторами и вдохновителями голода, участниками всех преступлений в России**" (выделено мной. — С. В.).

Сотникова Н. П. из пос. Кегичевка Харьковской области, учительница-пенсионерка, припомнила другие подробности:

"Помню, идешь из школы и тебя охватывает неописуемый ужас, увидев подъезжающую арбу то к одному, то к другому двору, и люди, едва двигающиеся, вилами (да, именно вилами) складывают трупы на эту арбу... Мы тоже всей школой хоронили Мишу Пономаренко — ученика нашего класса, умершего от голода. Его выносили, а на печке лежали полумертвые Мишина мама и меньшие ребяташки, а один из них грудной, прижавшись к пустой груди матери. Страшно было на них смотреть — так были они тощи, а рты испачканы зеленой травой, уже была весна... Я выжила благодаря бабушке, которая припасла разных овощей, а особенно картофеля".

Алексеев И. А. из новой Каховки, Херсонской области, свидетельствовал: "В конце лета 1932 года у нас забрали весь хлеб, в том числе и тот, что я заработал в коммуне, будучи подростком. В результате наша большая семья уже в начале зимы начала голодать, а весной 1933 года вымерла от голода, и только я один остался". 24.IV.84 г.

\* \* \*

Ну а что думали о "Драчунах" литературные критики?

Одним из первых о новом романе М. Алексеева высказался Михаил Лобанов. Ценность романа "Драчуны", по его мнению, заключается в первую очередь в его **историчности** (здесь и далее выделено мной. — С. В.), то есть в невыдуманности, несочиненности, а фактологичности, голой правде, рассказанной очевидцем. Уже в начале статьи критик привел высказывание на этот счет Л. Н. Толстого, коим руководствовался автор романа. Великий старец словно предвидел появление такой книги, словно по прочтении ее записал:

"Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случалось наблюдать в жизни".

Именно так и поступил М. Алексеев. Правда, ему, **кроме желания** рассказать о том, что пережито, необходима была еще и **смелость**. И критик не преминул отметить это: "Автор набрался наконец решимости **освободиться** от того, что десятилетиями точило душу, и выложить все так, как это было".

В этом смысл названия статьи: "**Освобождение**"...

Материал романа предоставил критику возможность соотнести его с тем, что уже было в русской литературе о деревне, сделать неожиданные выводы и обобщения в пользу автора.

"Крестьянство для русской литературы всегда имело особое, исключительное значение, — читаем в статье. — Собственно, и **сама она, великая русская литература, родилась из недр крестьянской народной жизни**". (Здесь и далее выделено мной. — С. В.)

Принципиальнейшее замечание! Как увидим дальше, оно очень не понравилось оппонентам М. Лобанова... А уж следующее за ним — тем более: "...именно крестьянство, народ породил тот океан языка, вне которого не может быть великого творчества. Язык и народ — это синонимы, и какое в этом глубокое значение", — говорил Достоевский... Народ — это и моральные ценности... **без почвы, без твердыни народной морали не может быть великой культуры и великой истории**".

О чем здесь речь? Да о том, что литература русская и литература русскоязычная далеко не одно и то же...

Статья М. Лобанова появилась в журнале "Волга" (№ 10, 1982 г.) ровно через год после выхода самого романа "Драчуны". Не могу сказать, почему она так долго шла к читателю, но почти определенно знаю, почему Михаил Петрович напечатал ее в провинции, а не в Москве. Предложить ее "Нашему современнику" он не мог: в нем публиковался роман, и редакции было бы неудобно печатать похвальный отзыв о своей публикации. Отдать статью в "Москву"? Но там главным редактором сам автор романа... Тоже нехорошо... Ну, а о "Новом мире", "Знамени", "Октябре" не могло быть и речи: они дышали другим воздухом... Оставалась "Волга" — журнал, печатающийся в Саратове, на родине М. Алексеева. Там и село Монастырское, где происходили описываемые события.

На удивление быстро статью прочитали П. Николаев ("траченный молью рапповец", — по определению М. Шолохова) и всегда готовый В. Оскоцкий... Их привело в ярость уже само название статьи: "**Освобождение**". Это от чего же освобождение? От кого? И что в нем, в этом слове, — намерение или призыв? Не

могли они позволить подобную двусмысленность критику-патриоту. Видимо, пришло им на память сакраментальное “добьемся мы освобождения...” Им — и тем, кому они служили, кто их “спускал с цепи” в нужную минуту!..

Не могло не взвинтить их, не поднять на дыбы и упоминание о письме Ленина Зиновьеву (Апфельбауму), Лашевичу и другим петроградским партфункционерам, в котором вождь требовал ответить массовым террором на убийство Воровского: “Мы компрометируем себя, — с раздражением писал он, — грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим революционную инициативу масс вполне правильно. Это не-воз-мож-но!” — вывел вождь по слогам свое возмущение.

Да, это не-воз-мож-но! — повторили вслед за ним Николаев и Оскоцкий уже по поводу высказываний М. Лобанова: тогда ведь они были “верными ленинцами” и носили еще у сердца красные книжечки с силуэтом вождя на обложке...

Чего только не нагородил в своей статье В. Оскоцкий. Но особенно возмущали его утверждения М. Лобанова, что вся **“великая русская литература родилась из недр крестьянской, народной жизни”** (чего не скажешь о русскоязычной. — С. В.); что “вековой бытовой, нравственный уклад крестьянской жизни исстари выступал в литературе “тыловым” обеспечением “положительных сил”; что с **“традиционно-русской” почвой исключительно связана так называемая “деревенская проза”**, а остальное — от лукавого...” (это уже добавление самого Оскоцкого. — С. В.). Отверг он и рассуждения о “праведной” (конечно же, в кавычках! — С. В.) крестьянской жизни. Хихикнув по этому поводу, он торжествующе воскликнул: “Словно и не шли никогда в старину с дрекольем в руках дом на дом, улица на улицу, деревня на деревню...”

Ах, г-н Оскоцкий! Да если бы М. Лобанов позволил себе столь же бесцеремонно копнуть, кто на кого и по какому поводу шли в старину (и не только с дрекольем), вам тоже не поздоровилось бы...

Не буду копать и я.

О многом, повторю, сказал в своей статье оппонент М. Лобанова. Одно название ее чего стоит: “Литературные игрища, или тотальный нигилизм”. Очень по-русски сказано! Но о г л а в н о м, о том, что роман “Драчуны” высоко оценен М. Лобановым в первую очередь за его и с т о р и ч е с к о с т ь, за высказанную наконец правду о голоде, унесшем миллионы (миллионы!) жизней, В. Оскоцкий не произнес ни слова. С чего бы это?

А с того, что понимал: вместе с обнародованием скрываемой до сих пор народной трагедии дело может дойти до обнародования и имен виновников ее — нет, даже больше — о р г а н и з а т о р о в, как это вышло нечаянно у Ю. Черниченко в “Литгазете” (13 апреля 1988 г.)... Вместе с создателями фильма “Скакал казак” Ю. Черниченко участвовал во встрече с жителями кубанской станицы Пашковской. Разговор зашел о голоде 1933 года, и станичники “понесли”, как выразился Черниченко, всех и вся за сокрытие этой трагедии: “Людей погибло, как на фронте... Каганович проехал, как Мамай прошел, а и сейчас ни гу-гу, словно не люди — собаки какие подыхали,” — кричали станичники.

В. Оскоцкий не слышал этих криков. И потому в огромной, на целую газетную полосу, статье тоже “ни гу-гу” не произнес о тех, кто, “как Мамай”, прошел по Кубани, Поволжью, Уралу, Украине в тридцатые годы.

Правда, умолчал о них и сам автор “Драчунов”, но совсем по другой причине.

— В тридцатые годы, — рассказывал недавно мне Михаил Николаевич, — нынешние Саратовская, Ульяновская, Пензенская, Астраханская области входили в Нижневолжский край. Руководителем, а можно сказать местным мамайчиком, этого крупнейшего региона был некто Криницкий — маленький рыжий еврей, я хорошо помню его. Он одновременно занимал должности первого секретаря крайкома партии, председателя крайисполкома, заведующего крайЗУ (земельного управления), политсекретаря политотдела МТС. Правда, тут у него были помощники — Гольдберг и Шапиро. Эти люди и проводили в крае коллективизацию и “ликвидацию” на ее основе “кулаков”. В моем родном селе Монастырском настоящих кулацких хозяйств, по утверждению односельчан, было три, а “ликвидировали” не менее ста... Сто из 600! Разорили и выслали на Север (умирать!) каждую шестую семью!

— А почему ты не назвал этих людей в романе? — спросил я Михаила Николаевича.

— А ты бы напечатал?

Я промолчал.

— То-то и оно... — вздохнул Михаил Николаевич.

Как развивались события после появившихся в печати статей П. Николаева и В. Оскоцкого — сегодня в это трудно даже поверить. По указанию ЦК партии статью М. Лобанова обсудил секретариат правления Союза писателей России (февраль 1983 г.) Открывая заседание, С. Михалков призвал собравшихся осудить статью (подчеркиваю: осудить, а не обсудить!). И чтобы этому осуждению ничто не помешало, автора статьи на секретариат не пригласили. Били заочно, за глаза...

Зато присутствовал, как всегда, полномочный представитель Отдела культуры ЦК А. Беляев. Сразу скажу: на сей раз у него все получилось так, как хотели Зимянин

и Шауро. Главный редактор "Волги" Н. Палькин с должности был снят. Грозило увольнение из Литературного института и М. Лобанову — он работал там преподавателем. И все это за одну честную, проникнутую национальным сознанием статью о хорошем, правдивом, почти документальном романе, поведавшем о страшной трагедии 30-х годов — голоде... Голоде, которого могло не быть. "Шабаш злобных обвинений" (выражение Михаила Лобанова), устроенный по заказу ЦК Николаевым и Оскоцким, сделал свое дело.

А я в те дни недоумевал: почему цековцы в столь крутой разборке забыли о "НС"? Ведь началось-то все с публикации "Драчунов" на его страницах... И только теперь понял: "НС" им был уже не по зубам. Дважды пытались переломить ему хребет — не вышло. Убедились, что неугодные им публикации в нем, патриотическая его направленность — не кураж строптивого главного редактора, а "весомо, грубо, зримо" заявившее о себе русское национальное сознание. И носителями его выступили лучшие, признанные народом русские писатели — авторы журнала "НС": Ф. Абрамов, М. Алексеев, В. Белов, Ю. Бондарев, И. Васильев, М. Лобанов, Евг. Носов, В. Чивилихин, В. Шукшин...

Разгромить "НС" в то время для цековцев означало бы войти в открытый конфликт с этими писателями, а значит, и со всей русской патриотической интеллигенцией, с "русской партией", как называли ее в разговоре между собой партийные функционеры. А этого они все-таки боялись.

В опубликованной "Волгой" статье М. Лобанова цековцы увидели опасный рецидив пробуждения русского национального сознания — на сей раз уже в провинции. И тут же, без лишней дипломатии, какую разводили вокруг "НС", они со всей силой ударили по "Волге", как ударяют по пристяжным, опасаясь тронуть норовистого и сильного коренника...

## XV

Прихожу в редакцию — на столе свежий номер журнала. Сигнальный экземпляр! Приятно, конечно, перелистать его... Но не более, потому как: что сделано — то сделано! И все мысли твои давно уже о другом: какими материалами располагает редакция для очередного номера, как их нужно выстроить, объединить единым замыслом...

Погруженный в эти заботы, я как-то быстро забыл о неприятностях, связанных с публикацией романов В. Пикуля и М. Алексеева. Зато хорошо помнили это недруги журнала. И не только на Старой площади... Крепость по имени "Наш современник", неожиданно воздвигнувшая свои, в русском стиле, башни на пустом месте, стала для них бельмом на глазу. И, значит, надо было крепость эту взять и разрушить, причем не атакой в лоб — это и примитивно, и рискованно, — а с помощью, например, троянского коня. Взорвать редакцию изнутри! А там пусть разбираются: что, да как, да почему...

Как это делалось?

С. Михалков и Н. Свиридов (Госкомиздат) стали настойчиво уговаривать меня отдать в их распоряжение Л. Фролова: в издательстве "Современник" оказалось вакантным место главного редактора. Дело осложнялось тем, что незадолго перед этим уволился по состоянию здоровья и второй мой зам В. А. Кривцов... А тут еще тяжело заболела и вскоре умерла Н. Подзорова — ответственный секретарь журнала, всего полгода назад перешедшая к нам из "Литгазеты": неуютно ей там было...

Л. Фролов, как я и ожидал, предложение принял. Я не стал его удерживать: человек шел на повышение. Иной сто годов ждет такого часа, а тут — в расцвете сил главным редактором издательства!.. Соблазняла его, как я понимал, не только более высокая зарплата, персональная машина, возможность почаще издаваться, но и отличный случай попробовать себя в роли главного, подотчетного только директору издательства — в ту пору многоопытнейшему Геннадию Михайловичу Гусеву.

Ну а то, что с его уходом оголялась редакция "НС", — его уже не касалось. Об этом должна была болеть моя голова... И голова у меня действительно болела. Говоря фронтным языком, на тот день оказался выбитым почти весь командный состав редакции. А затишья "на фронте" не предвиделось, и нужно было срочно подобрать и новых замов, и ответственного секретаря, и трех заведующих отделами...

Секретаря я не стал искать на стороне — выдвинул на этот пост своего сотрудника — умного и опытного редактора отдела критики Владимира Васильевича Васильева. А вот замов...

На эти должности подходящих кандидатур у меня не было... Похоже, что кто-то где-то, с точностью до одной десятой, "просчитал" этот вариант и теперь спешил воспользоваться им для осуществления своего замысла. Посыпались предложения и рекомендации. Кто-то (теперь уже не вспомню — кто) посоветовал взять на должность первого зама Юрия Ивановича Селезнева — он возглавлял тогда редакцию "ЖЗЛ" в издательстве "Молодая гвардия".

На должность второго зама всплыла кандидатура петрозаводского поэта Валентина Устинова, недавно женившегося на москвичке и прописавшегося в Москве. Попытался что-нибудь узнать о нем, позвонил даже в Петрозаводск главному редактору журнала "Север", где Устинов какое-то время работал. Дмитрий Яковлевич Гусаров сказал: "Да ничего парень". Таким образом, об Устинове я кое-что уже знал ("ничего парень"), а вот о Селезнев — ровным счетом ничего. Да и не было времени на узнавание: Михалков поспешно включил в повестку дня ближайшего секретариата: "Утверждение заместителей главного редактора журнала "Наш современник".

Замечу, что официального, под протокол, утверждения заместителей главного редактора на секретариатах до сих пор не практиковалось: сами главные подбирали замов, сами и освобождали, уведомив о своем решении Ю. В. Бондарева, который по должности курировал журналы. Моих новых замов утверждал секретариат. И это означало: попробуй тронуть потом...

Новички пришли в редакцию в ноябре-декабре 1980 года. Селезнев как первый зам по традиции взял два наиболее трудоемких отдела — прозы и критики. Устинову достались публицистика и поэзия.

Не ради упрека — ради истины скажу, что ни тот, ни другой ожидаемого мною рвения в новом для себя деле не проявляли. Мне показалось, что они пришли в редакцию журнала с обывательским представлением о ней как о месте, где много шумят-говорят, причем не обязательно за редакционным столом, и таким образом "руководят", а дело делают "негры", литсотрудники. Держали, думаю, в уме они и то, что в перспективе из занимаемых ими должностей можно извлечь и определенные выгоды... Неудивительно, что Устинов очень скоро начал конфликтовать с отделами (он не успевал читать предлагаемые ими рукописи), а спустя месяц-два понял, что редакция не его планида и надо "закругляться"... Подал заявление, ушел. С Селезневым было сложнее...

\* \* \*

Прошло полгода. Наступило время летних отпусков. Собрался на отдых и я, как всегда — в деревню. Селезнев как первый зам должен был в мое отсутствие подготовить к набору и заслать в типографию очередной, одиннадцатый, номер журнала. Материалы, предназначавшиеся в этот номер, мною в основном были прочитаны, план номера утвержден: мое отсутствие в редакции не освобождало меня от ответственности, об этом я помнил всегда.

Среди прочитанных рукописей была и повесть молодого тогда Владимира Крупина "Сороковой день". Не понравилась она мне. Написанная в эпистолярном жанре, повесть к прозе имела весьма условное отношение. В ней не было ни сюжета, ни "героев", если не считать "героем" автора писем — журналиста, уехавшего в командировку в провинцию и там тоскующего по молодой жене. Впрочем, чувства в этих письмах — дело десятое, так... для антуража. Главным в них было описание того, что видел молодой журналист вокруг себя, и его раздумья по поводу увиденного или услышанного.

Избранная автором форма повествования позволяла ему рассказывать и рассуждать о чем угодно: в одном письме о поданной ему в забегаловке "позеленевшей" котлете, которую даже собаки "жрать" не стали, в другом — о телевидении, например, вот так: "Не успев зародиться, оно вырождается, то есть своим огромным останкинским шприцем вливает в эфир пошлость, кордебалет, а чаще пустоту никому не нужных сведений". Справедливый вывод. Но, забегаю вперед, скажу, что он-то как раз и послужил красной тряпкой, рассердившей "быка", в роли которого снова выступил А. Беляев.

Зафиксировал молодой журналист и главную народную беду — пьянство, негласно поощряемое властью: "Ритм жизни поселка зависит от завоза спиртного. Нет его — требуют: нечем платить зарплату; есть оно — хватают в запас, так как не надеются, что завезли много".

Честно сказать, ничего нового в жизни провинции журналист не открыл. И ничем не удивил. Все "недостатки", кои он взял на заметку, были известны читателям (в частности, по нашим куда более обстоятельным статьям и очеркам). Не устраивали меня также язык и стиль сочинения. Небрежность письма оборачивалась подчас удручающим косноязычием. Крупин чуть позже сам признал это в "Литгазете". Да, вещь недоработанная, сырая, писал он, но что ему было делать, если "НС" и такую все равно принял к печати. Очень понравилось "Литгазете" такое откровение: дескать, вот он, уровень этого журнала...

Но все это было потом, после публикации повести... А раньше был разговор с Ю. Селезневым, и я сказал ему, что повесть считаю не готовой к печати и что было бы правильно вернуть ее автору с нашими замечаниями: пусть подумает. Юрий Иванович согласился со мной, однако откладывать печатание повести никак не хотел.

— И язык, и стиль можно поправить, — говорил он. — Сядем с автором рядом и сделаем. Надеюсь, что и с цензором поладим... И вообще, Сергей Васильевич, можете вы хоть что-нибудь доверить мне? Эту повесть, например?



Я понял, что мой новый зам человек самолюбивый, что он хочет большей самостоятельности, большего доверия к его редакторскому опыту, художественному вкусу.

— Хорошо, — сказал я. И, глядя ему в глаза, с расстановкой добавил: — Доверяю вам повесть Крупина. Редактируйте, печатайте. И лавры, и шипы — все будет ваше.

— Пожалуйста!.. — самоуверенно ответил Юрий Иванович.

Повесть вышла в номере одиннадцатом за 1981 год, сразу после романа "Драчуны" М. Алексеева и через два года (что следует подчеркнуть особо) после пикулевского "У последней черты". Только наивный провинциал, как я, мог думать тогда, что такая публикация, как "антисемитский" (по Зимянину) роман В. Пикуля, может быть забыта, не отомщена. Забыта теми, кого она поставила в "экстремальное положение", заставила трепетать перед забурной "княгиней Марьей Алексевной" идеологов могучей партии тт. Зимянина, Шауро, Беляева, да и тех, полагаю, кто стоял над ними.

Они могли бы справиться с редактором проштрафившегося журнала, как говорится, в два счета, по горячим следам и... и почему-то не решились: видимо, посчитали, что слишком очевидной была бы расправа, а они не хотели столь вульгарно саморазоблачиться, наглядно показать, кому служат, что хранят-берегут, называя оберегаемое (условно) интернационализмом. Поэтому было решено оставить журнал на время в покое, но не спускать с него глаз. Выигрыш двойной: во-первых, все увидят, какие они либералы, как уважают свободу слова и печати; а во-вторых, у них будет время подстеречь другой случай для решительного "жеста" в отношении главного редактора "НС".

И случай скоро представился. Опубликованная "под личную ответственность" Селезнева повесть Крупина была квалифицирована как очернительская, злонамеренная, антисоветская. В подтверждение приводился все тот же пассаж о телевидении. Как? Порочить н а ш е телевидение? Сеять недоверие к нему, главному орудии интернационального воспитания (теперь кое-кто выражается точнее — оболванивания) народа? Подобного партийные функционеры не могли позволить никому, даже если это делалось таким наивным способом, к какому прибег Крупин...

А. Беляев, обязанность которого в идеологическом отделе заключалась, как все мы неоднократно убеждались, в исполнении "приговоров", то бишь решений Секретариата ЦК или указаний Зимянина и Суслова, вскоре после выхода в свет ноябрьского номера пригласил меня в ЦК, но зачем — не сказал.

Пришел. И самое первое, что я увидел на его столе — последний номер "НС" с множеством бумажных закладок в нем и — рядом — аккуратно отпечатанные страницы какого-то текста. Когда он начал говорить о "серьезных ошибках", допущенных редакцией в этом номере, говорить, постоянно заглядывая в эти страницы, а порой даже читая отдельные места из них, я понял, какого характера были они, кем сочинены и с какой целью. Подчеркивания, вопросительные и иные знаки на их полях — это было уже творчество Альберта Андреевича. Такие "справки" по просьбе ЦК исполнялись, как правило, пользующимися особым доверием консультантами из Союза писателей. По стилю, по аргументации данная справка очень смахивала на то, что писали о "НС" в "Литгазете", "Правде", "Знамени", "Литобозе", "Книжном обозрении" и других однородных изданиях Ю. Суровцев, В. Оскоцкий и иже с ними...

Высказав (а точнее, прочитав) все о повести Крупина, Беляев отложил первую справку и уперся глазами в другую. В этой подробно разбирались "ошибочные" положения литературоведческих статей Вадима Кожина и Анатолия Ланщикова — авторитетных уже в те годы ученых-литературоведов. Статья Ланщикова называлась "Великие современники (Достоевский и Чернышевский)", статья Кожина "...И назовет меня всяк сущий в ней язык. (Заметки о своеобразии русской литературы)". Обе приурочивались к 160-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, но не были по традиции юбилейно-елейными, наоборот, несли на себе печать глубокой исследовательской мысли, компетентности, я бы даже сказал — академизма, чем отличались всегда и другие работы этих авторов.

Что нашли в названных статьях крамольного консультанты А. Беляева? Может быть, вот это? "...на протяжении последних двадцати пяти лет жизни Достоевский развивал мысль о всечеловечности как о сущности нашего национального самосознания и — как следствие — коренном, решающем качестве русской литературы".

Вполне возможно... А может, вот это?

"...Всецеловечность — как давно осознанное существеннейшее свойство русской литературы — ничего общего не имеет с тем идеологическим явлением, которое более или менее полно охватывается понятием "космополитизм" и которое было чуждо всем подлинным деятелям русской литературы. Белинский, как известно, решительно заявил: "Я скорее готов перейти на сторону славянофилов, нежели оставаться на стороне гуманистических космополитов".

Да, тут мы, пожалуй, и в самом деле дали маху. Забыли, что слово "космополит", независимо, в каком контексте оно произносилось, раздражало наших оппонентов.

И хотя на сей раз оно прозвучало из уст Белинского, все равно... А В. Кожин в следующем абзаце в подтверждение своей правоты сослался еще и на Достоевского:

**"Все великие русские писатели прекрасно создавали, что пафос всечеловечности, оторванный от народной основы, порождает тенденции космополитического характера, о которых со всей резкостью** говорил (выделено мной. — С. В.) и Достоевский... И если происходит разрыв, распад единства всечеловечности и народности, первая вырождается в космополитизм, а вторая — в национализм... Стоит подчеркнуть для большей ясности, что космополитизм и национализм по-своему также взаимосвязаны: национализм, утверждая одну нацию за счет всех других, в сущности требует от всех этих других стать на космополитические позиции (это в высшей степени характерно, например, для такой крайней формы национализма, как сионизм)".

Да, это, именно это, как я понял дальше, было главным, что вызвало раздражение неведомого мне критика. А. Беляев путано комментировал его выводы — было похоже, что сам он статью В. Кожина не читал, положился целиком на консультанта, и потому я с трудом понимал, в чем он обвиняет автора и меня как редактора — в национализме?... в шовинизме?... Пожалуй, да... Пробувнив еще один абзац, он вскинул на меня глаза, спросил: "А что скажут по этому поводу украинцы?" И я ответил: "Подзаголовок кожиновской статьи — "Заметки о своеобразии русской литературы". Пусть украинцы опубликуют заметки "о своеобразии украинской литературы" — никто из русских писателей в претензии к ним не будет.

Говорил Беляев и об "ошибках" в статье А. Ланщикова, но более строго и подробно о рецензии С. Семанова на роман Марка Еленина "Семь смертных грехов", опубликованный в журнале "Нева" в первой половине 1981 года. Тема романа — агония белого движения в Крыму с весны по ноябрь 1920 года, действующие лица — генералы, князья, гвардейские офицеры, — и все они рисуются автором в самых черных, русофобских красках... "Есть ли все же в этом романе среди мерзкого людского месива хоть какие-то герои, вызывающие авторскую симпатию? — задается вопросом автор рецензии С. Семанов. И отвечает: есть... Безусловно положительным является доктор Аркадий Львович Вовси — эпизодический герой, врач... О нем говорится скупко: "Никого у него не было на земле, он мог пристать к любому берегу".

Запоминается и еще один герой из ряда положительных — сын историка Шебеко, адвокат. Очень современно звучат его сокровенные мысли о России; настолько современно, что стоит их воспроизвести:

"И что такое вообще Россия? Огромная империя, распластавшаяся по всему глобусу. Где, кто и когда определил ее границы? (Шебеко явно страдает, что сделано это было без позволения его и Вовси. — С. В.) Где начинается и где кончается отчизна? В границах моего поместья? Его у меня нет. За стенами петербургского особняка? (Какие скромные претензии! — С. В.) Все это фикция! Родина там, где мы живем и трудимся. Там, где мы кормимся (выделено мной. — С. В.), где нам дают хлеб насущный... Интеллигенции не за что бороться. Математик может разрабатывать свои теоремы в какой угодно стране. Я способен проводить скупку-продажу панамских акций в Индии, а индийских на Шпицбергене. Росли бы при этом мои прибыли, все остальное, — начиная со свободы! — мы себе купим..."

С точки зрения А. Беляева, С. Семанов совершил ошибку, акцентируя внимание читателей на этих строчках, а редактор журнала, не вычеркнувший их, еще большую. Ничего другого, к чему бы можно было придраться, в рецензии не было.

Прошел день или два после этого разговора в ЦК — последовал звонок из канцелярии Михалкова: "Через неделю состоится обсуждение одиннадцатого номера "НС". "Ого! — подумал я. — Быстро набрал обороты маховик партийно-карательной машины!" А то, что заработала именно эта машина, сомнений не было. И тем не менее я не переживал, потому что не чувствовал за собой вины. Да, рассуждал я, журнал напечатал слабую повесть, но я был против публикации ее, и Ю. Селезнев подтвердит это (я верил в его порядочность). А что касается "ошибок" в статьях Кожина, Ланщикова и Семанова — то тут, как говорится, "бабка надвое сказала", о них можно и поспорить...

В общем, я не придавал большого значения предстоящему обсуждению, потому что не догадывался еще тогда о замысле А. Беляева. Скажу больше: я был непростительно беспечен накануне секретариата, целыми днями пропадал в редакции, корпел над рукописями, отвечал на письма и в этой суете едва успел (буквально накануне) набросать две-три странички тезисов требуемого от меня объяснения случившегося... Я не удосужился даже переговорить с Селезневым, не позвонил Ю. Бондареву — куратору журнала и члену редколлегии: дескать, что ты думаешь об одиннадцатом номере? Неужели он и в самом деле такой... насквозь антисоветский?... Шовинистический?... Не позволил... Ни ему, ни кому-либо из других секретарей...

И только когда секретариат начался и рядом с Бондаревым (Михалков отсутствовал, не знаю — почему) занял место Беляев, а чуть в сторонке еще и один из его инструкторов С. Потемкин, а за приставленным к председательскому столу

не оказалось ни одного свободного стула, тогда только я стал догадываться, что в этом кабинете состоится не просто обсуждение одиннадцатого номера (секретариат иногда по собственному плану устраивал подобные "мероприятия"), а з а к л ю ч и т е л ь н ы й а к т "с п е к т а к л я", начавшегося два года назад в связи с публикацией романа В. Пикуля.

\* \* \*

Восстанавливаю сейчас в памяти тот "спектакль" (в протокольном отделе правления СП РСФСР мне предоставили возможность перечитать стенограмму секретариата) и, право же, жалею секретарей — известных писателей, оказавшихся по воле бездарного постановщика "спектакля" в глупейшем положении — умствовать на пустом месте, обсуждать произведение, в котором, по гамбургскому счету, нечего было обсуждать. Оно еще не было явлением искусства, фактом литературы — оно было всего лишь более-менее обнадеживающим опытом молодого литератора, которому вполне достаточной была бы консультация одного (любого!) из присутствующих на секретариате писателей — Ю. Бондарева, П. Проскурина, Е. Носова, Н. Шундика, Ф. Кузнецова...

Кстати, некоторые из них не очень отчетливо, может быть подсознательно, но чувствовали определенное неудобство и даже раздражение от необходимости участвовать в разворачивавшемся на их глазах представлении. Приведу некоторые высказывания на этот счет.

Е. Носов: "Получив 11 номер, я был не то что разочарован, я был оскорблен этой вещью Крупина".

Ю. Бондарев: "Вещь художественно не состоялась".

Ф. Кузнецов: "Как можно было печатать Крупина? Ведь даже невооруженным глазом видно, что эта вещь должна была остаться в лаборатории молодого писателя. Она совершенно не готова для публикации... Это просто какой-то глупый вызов при той тяжелой ситуации, в которой находится журнал "НС", при том, что после романа Пикуля очень много пристальных глаз следят за каждым номером журнала" (выделено мною. — С. В.).

Ф. Кузнецов, опытный аппаратчик, умный политик, единственный из всех секретарей нащупал и обнажил главный нерв "спектакля". "Публикация повести "Сороковой день", — сказал он, — это вызов..." Кем и кому был этот вызов брошен? И с какой целью?..

Вполне допускаю, что мой заместитель не понимал этого, подписывая в печать повесть Крупина... Зато хорошо понимали те, кто (по Кузнецову) "пристально следил за каждым номером журнала", в том числе в "Литгазете", понимали и очень боялись, как бы это понимание не осенило и Селезнева... Дабы этого не случилось, "Литгазета" уважительно этак попросила у него отрывок из повести для публикации на своих страницах. Селезнев отдал "благодетелям" всю повесть, предоставив им право самим выбрать нужные страницы, и они выбрали, как сказал на секретариате Юрий Иванович, "самые острые", убив тем самым двух зайцев: во-первых, оповестили читающую публику о предстоящей публикации повести в журнале и этим лишили редакцию возможности отменить, если понадобится, свое решение; во-вторых, привели в возбужденное состояние А. Беляева и К<sup>о</sup>: вот, мол, брали вы Викулова за роман Пикуля, а он и ухом не ведет, снова бросает вызов вам!..

Ю. Селезнев о своих действиях в те дни поведал секретариату так: "Я послал повесть на отзыв В. Распутину. Он прислал очень благожелательный отзыв. Я дал прочитать повесть В. Белову, который тоже высоко отозвался о ней... А потом я дал Сергею Васильевичу, и она ему не понравилась. Когда я стал вести переговоры с Распутиным и Беловым, что мы откажемся от этой вещи, они заявили мне, что если дело пойдет так, то они поступят, как поступил Астафьев, с мнением которого Викулов не захотел считаться".

Поясню: Астафьев незадолго перед этим демонстративно вышел из редколлегии, возмущившись тем, что я отказал ему в публикации рассказа его жены, рассказа, который Виктор Петрович то ли в шутку, то ли всерьез называл "шедевром", а я счел его всего лишь более-менее сносным опытом начинающего литератора (не знал, что жена Виктора Петровича собиралась в то время вступать в члены Союза писателей и публикация рассказа в "НС" ей была весьма кстати).

Не принял я к печати и собственное сочинение Виктора Петровича "Зрячий посох" о покойном литературном критике А. Макарове, с которым его связывала крепкая дружба... Точнее, предложил ему напечатать только ту часть рукописи, в которой он рассказывал о Макарове как о талантливом, умном, принципиальном критике и человеке с большой буквы, а письма Макарова к нему (они составляли, пожалуй, три четверти рукописи) пока отложить, поскольку еще время для их публикации: писатели, о которых Макаров отзывался подчас грубо и даже оскорбительно, были еще живы. В. Астафьев с моим предложением не согласился. Не показались мне достаточно

ответственными и рекомендации В. Астафьева, коими сопровождал он две-три рукописи молодых уральских авторов, обратившихся за поддержкой лично к нему как члену редколлегии "НС".

Имея в виду все это, Виктор Петрович и заявил на редколлегии, что с ним "здесь не считаются", потому он из журнала уходит. Встал и действительно вышел, хлопнув дверью. Можно представить, как аплодировали ему московские "друзья", увидев в его поступке обнадеживающий симптом: если дело пойдет так и дальше, то редколлегия "НС" может развалиться, а журнал — потерять уважаемых авторов.

Ю. Селезнев своими переговорами с Распутиным и Беловым вольно или невольно подталкивал их к такому же шагу, какой сделал Астафьев (кстати, он вроде бы даже уговаривал их последовать его примеру — был такой слух).

Нельзя не обратить внимание и на то, что Селезнев в разговоре со мной перед отпуском ни единым словом, ни даже намеком не обмолвился об особом отношении к повести Крупина членов редколлегии Распутина и Белова. Почему бы не рассказать мне об их отзывах? С кем, с кем, а с Распутиным и Беловым я не мог не поспотеться. Я бы немедленно вышел на прямой разговор с ними, попытался понять их доводы, найти компромиссное решение...

Селезнев, повторю, не показал эти отзывы, утаил их от меня... Не чисто было что-то в его действиях... Не менее странно и то, что он не зачитал эти отзывы и на секретариате. Это здорово помогло бы ему в той ситуации. Однако, похоже, что ни в какой помощи он не нуждался. Он был уверен в своей правоте, категоричен и смел в своих суждениях и, пожалуй, даже бравировал этой смелостью, отнюдь не собираясь оправдываться: "Я убежден (цитирую по стенограмме. — С. В.), что эта вещь ("Сороковой день") серьезная и мне не надо ее стесняться. Я не раскаиваюсь, что опубликовал эту вещь... Через пять лет мы будем приветствовать лауреата Государственной премии В. Крупина и будем вспоминать, как его ругали, как о каком-то казусе".

Не могу не обратить внимание читателей на то, что это говорилось после выступлений Евг. Носова, Ю. Бондарева, Ф. Кузнецова, давших повести самую отрицательную оценку.

Не изменилось отношение писателей-секретарей к повести Крупина и после выступления Ю. Селезнева. Считая, что повода для серьезного разговора о повести нет, а он им все-таки навязан, секретари не могли не задуматься: а зачем? с какой целью?

Не стоило большого труда ответить: а все с той же, какую ставили перед собой А. Беляев и К<sup>о</sup>, устроив два года назад взбучку "НС" за публикацию романа В. Пикуля. Еще тогда главный редактор "НС" должен был, так сказать, поплатиться "кровью" (этого требовала от них вся камарилья московской писательской организации, а она составляла абсолютное большинство). Тогда не поплатился. Не вышло. Секретари не позволили.

Похоже, не хотели они позволить этого и теперь. Каждый, принявший участие в обсуждении одиннадцатого номера, говорил не столько об идеологических, теоретических (литературоведческих) "ошибках" Крупина, Кожина, Ланщикова и Семанова, сколько о журнале вообще, о его роли в живом литературном процессе, о трудностях в самой редакции, возникших в результате вынужденных, поспешных и в большинстве случаев неудачных кадровых вливаний...

Ю. Бондарев, открывая секретариат, заметил: "Современная литература прочно подпирается знаменитыми именами писателей, в разные годы вышедшими из "НС". Такое начало, скажу честно, обнадеживало. И когда Юрий Васильевич предложил высказаться по существу дела мне, я сказал (цитирую по стенограмме): "Хотелось бы, чтобы уважаемые секретари не забыли в предстоящем разговоре, что редакция (любая!) — это сложный организм, и когда в ней заменяются сразу оба заместителя, ответственный секретарь и три заведующих отделами, ее не может не лихорадить. Нужно какое-то время на притирку, на то, чтобы люди освоили круг своих новых обязанностей, осознали всю полноту ответственности за дело, к которому они приставлены, втянулись в напряженный, доселе неведомый им режим работы. Скажу честно, я надеялся, что все это произойдет быстрее, чем вышло на самом деле..."

Наши недоброжелатели пытаются выдать наши ошибки за некую злонамеренную линию, пишут письма в высокие инстанции... Что ответить на это? Да, линия у нас есть. Но она совсем иная. Суть и смысл ее — это честь и достоинство советской литературы, преумножение лучших традиций русской литературы, завещанных нам великими предшественниками".

П. Проскурин, выступивший после меня, выразился более определенно: "НС" является сейчас лучшим журналом. Я не боюсь этого сказать. Журнал, который уважаем среди народа и среди интеллигенции и широко известен за рубежом".

Е. Исаев поддержал П. Проскурина: "Был съезд, мы с удовлетворением говорили о нашей прозе, а где была напечатана значительная часть этой прозы? В журнале "Наш современник"! Троепольский, Е. Носов, Шукшин, Белов, Распутин, Бондарев, Астафьев, Чивилихин, М. Алексеев — все печатались в "НС".

Евгений Носов выступил как член редколлегии: "Я, как никто другой, знаю внутреннюю жизнь журнала и имею счастливый доступ к его творческим дерзаниям. Здесь уже говорили, что надо постараться сделать так, чтобы выбить мысль, если она трепещет, что этот журнал с душком, с какой-то фигой. Я лет 15 сотрудничаю в "НС" и знаю, что это не так... И хотел бы сказать о Сергее Васильевиче слово. Это человек удивительной жертвенности. Когда встал вопрос, быть ли ему чисто поэтом или взяться за это дело (за журнал), а дело было нулевое, его личные соображения отступили перед соображениями гражданской необходимости. И он пошел на это дело. Начинали с нуля... И никакого похихикивания и потирания рук оттого, что мы напечатали что-то резкое и принципиальное, у нас нет. Наоборот. Это нас сплачивает. Это наш крест, который мы несем осознанно... Я знаю, как трудно работать Сергею Васильевичу, особенно после того, как ушел Фролов... Остальной наш аппарат — это такая неустойчивая масса. Все эти 12—13 лет — такой проходной двор, что положить было не на кого... И в этой ситуации делать такой журнал, где каждый абзац — держи ухо востро... Сергею Васильевичу нужна опора. Он все взвалил на себя, вместо того чтобы разложить на плечи членов редколлегии. Писатель Селезнев — хороший человек, горячий, но молодой, и его заносит. Значит, опять доверяй, но проверяй".

На этом секретариат закончился. Решения, обязательного в таких случаях, почему-то не было принято. А. Беляев явно нервничал: что-то во всем этом его не устраивало. А что? В тот момент я не понимал. Тем более что он на секретариате не вымолвил ни слова; таково было у них, партийных функционеров, правило: везде присутствовать и всегда молчать.

Разошлись по домам не сразу. Обменивались впечатлениями, договаривали то, что не успели или забыли сказать.

Кто-то даже пожал мне руку: "Поздравляю!" — "С чем?" — устало и равнодушно спросил я. "Как с чем? Да ты посмотри, что получилось-то. Как будто юбилей твой отметили.. вместо разноса-то!"

Исчезнувший было вместе с Бондаревым А. Беляев вдруг появился снова. Возбужденный, как будто наэлектризованный, проходя мимо меня, он опустил свою длань на мое плечо и громко произнес: "Думай, брат, думай!" В эйфории той минуты я понял это так: "Думай и принимай решение... С таким замом далеко не уедешь..." А как еще можно было его понять? И тем не менее зимянинский представитель, как я потом понял, имел в виду совсем другое...

Спалось после секретариата плохо. В голове стучало: "Думай, брат, думай!" И я думал. И пришел к выводу, что с Селезневым придется расстаться. Опыт подсказывал: с первым замом можно работать только на полном доверии. А у меня такого доверия к нему теперь не было и не могло быть... Хорошо бы он сам подал в отставку. Очень трудно говорить человеку, как я надеялся — соратнику, единомышленнику: "Вы мне больше не нужны. Подыщите себе другую работу".

Утром, приехав в редакцию, сразу же пригласил Селезнева к себе. Оттягивать трудный разговор означало бы мучить и его, и себя. Сказал ему, что после того, что произошло с одиннадцатым номером, работать вместе мы не можем.

Селезнев, как ни странно, изобразил искреннее удивление: он не ожидал, видимо, такого поворота дела. После некоторого замешательства спросил меня:

— А вы с Альбертом Андреевичем разговаривали по этому поводу?

— Нет... Но он подтолкнул меня к такому решению.

— Именно к такому?

— Да... По крайней мере, я его понял так.

— Странно... — упавшим голосом сказал Селезнев. — Мне он говорил совсем другое...

До сих пор жалею, что не спросил Юрия Ивановича, что именно "другое" говорил ему А. Беляев. И когда говорил. До секретариата? После секретариата? Не спросил — и теперь вот гадаю... И все больше склоняюсь к тому, что Юрий Иванович вольно или невольно оказался втянутым Беляевым в грязную игру, которую он вел со мной как неугодным главным редактором. Вполне возможно, что Ю. Селезнев определенно не знал, с какой целью была затеяна А. Беляевым возня вокруг одиннадцатого номера журнала, но... догадывался! Не мог он при этом не помнить, что Викулову не сегодня — завтра все равно выходить на пенсию, и значит...

Однако я с уверенностью думаю сегодня о том, что, не случись описанного выше "спектакля" с "Сороковым днем", мы бы с Селезневым отлично сработались... Мой к тому времени уже немалый опыт, его энергия — и редактора и ученого, — слитые воедино, уверен, придали бы новое ускорение кораблю под названием "Наш современник".

Но не за этим посылал Юрия Ивановича в "НС" А. Беляев — могу ручаться! Усиление "НС" ему было не нужно, потому что не нужно было никому, кроме разве русского ядра секретариата СП во главе с Ю. В. Бондаревым.

Но Ю. Селезнев, похоже, этого не понимал. Не понимал, что после ухода из "НС" Викулова зиянинцы все равно не отдали бы ему журнал, если бы даже и было обещано такое... Не отдали бы, поскольку он числился ими по тому же "ведомству", что и Викулов.

Ю. Селезнев не хотел уходить из журнала. Он убеждал меня, что любит журнал и очень хочет работать в нем и дальше, тем более что "без работы" он не может: не на что жить... Да и с квартирой вопрос не решен... Я сказал, что очень сожалею о случившемся... (Какие тут нужны были еще слова?) А что касается работы (он добивался курса лекций по русской литературе XIX века в Литинституте) и квартиры — посодействую, сколько смогу.

В тот же день позвонил А. Беляеву и, к удивлению моему, встретил и понимание, и поддержку с его стороны. Вскоре Ю. Селезнев и в институте устроился, и квартиру получил...

## XVI

Хожу, езжу по Москве... В вестибюлях метро, в подземных переходах, возле кинотеатров, гостиниц, крупных магазинов — всюду книжные развалы... Господи, чего только не издано! Все — кроме классики! Преобладают детективы, эротика, порнография... А названия-то какие! "Дом терпимости", "Время убивать", "Ожерелье смерти"...

И вдруг: "Алексей Дикий. Евреи в России и в СССР. (Исторический очерк)". Красивая, в твердом переплете книга с тисненым золотом названием... Верю и не верю глазам: да это же та самая книга, которую конфисковала у меня лет двадцать назад таможня в аэропорту Шереметьево! Неужели наше, российское издание? Беру книгу, раскрываю, читаю: "Издание второе (первое в России). Новосибирск. "Благовест". 1994 год".

Вот это да!.. А впрочем, что тут удивительного... Гласности!.. Достая кошелек, плачу, сую книгу в портфель, бегу домой. Разбирает любопытство: что же в ней такое "секретное", для той поры негласное и, значит, вредное для меня — русского писателя, главного редактора журнала? Кроме того, хотелось понять, по чьему указанию таможня, устроив шмон в моем чемодане, изъяла эту книгу?..

Знакомлюсь с оглавлением: "Еврейский вопрос от февраля до октября 1917". Нужная глава... Следующая за нею "Евреи в СССР". Бросилось в глаза: "Роберт Вильсон, англичанин, корреспондент газеты "Таймс", который 17 лет прожил в России и имел возможность наблюдать все, что там происходило в годы революции, сообщает, что из 556 лиц, занявших руководящие посты во всех отраслях администрации, — 447 были евреи". И далее: "В самом Петрограде, по свидетельству методистского священника, долгие годы проживавшего там, вплоть до 1919 года правительственный аппарат состоял из 16 русских и 371 еврея, причем 265 из этого числа прибыли из Нью-Йорка".

Что в этом нового, неизвестного для современного читателя, в том числе и для меня? Да цифры, пожалуй, только цифры... О самой тенденции все давно наслышаны.

"В предвоенные, 30-е годы, — читаю дальше, — соотношение русские—евреи в Центральном Комитете ВКП(б) и в правительственных учреждениях не изменилось. Так, из 60 членов ЦК евреев было 39".

"В Комиссии Советского контроля при Совете Народных Комиссаров Союза ССР из 22 сотрудников — евреев было 20.

В Комиссариате Иностранных дел из 9 руководителей 7 были евреями.

В Комиссариате Внутренних дел (ОГПУ) евреями были все 8 руководителей. Поименно:

Комиссар — Г. Г. Ягода (Гершель Ягода).

Помощник — Я. С. Агранов (Сорензон).

Начальник Главного Управления милиции — Л. Н. Бельский.

Начальник Главного Управления лагерей и поселений — М. Д. Берман.

Заместитель Начальника ГУЛаг — С. Г. Рапопорт.

Начальник Беломорских лагерей — Л. И. Коган.

Начальник Беломорско-Балтийского лагеря — С. Г. Фирин.

Начальник Главного Управления тюрем — Х. Аперт".

Любопытно... Но и об этом я уже знал по книге "Архипелаг ГУЛаг" А. Солженицына...

Откровением для меня явились, пожалуй, вот эти только строки: "В 1966 году в книге американского историка-исследователя Вествуда *"Россия 1917—1964 годов"* можно прочитать следующие правдивые строки: "Коммунисты боролись не столько с белыми, буржуазией, кулаками или фашистами, сколько с *историческим прошлым России*". (Здесь и далее выделено мной. — С. В.) Это, — комментирует цитату из Вествуда А. Дикий, — может быть первый случай, когда правильно подмечена и отчетливо сформулирована *главная цель* правящего класса, заключающаяся в *искоренении в сознании народа чувства своей национальной принадлежности и*

*превращении новых поколений в "советских людей" с психологией "безродного космополита"...*

Прочитал эти строки и вспомнил одно из основополагающих положений констатирующей части программы КПСС тех лет: "Родилась новая историческая общность — советский народ". Один русскоязычный поэт, окрыленный столь любезным сердцу его утверждением, помню, написал даже стихотворение, в котором с присущей ему прямотой заявил, что он по *национальности советский*, и никакой другой.

Зная об этом и других подобных пропагандистских трюках, поощряемых идеологами ЦК КПСС, А. Дикий сделал вполне логичный вывод: *"Расчет был на создание "нового человека" (теперь говорят и пишут — "общечеловека". — С. В.), не помнящего своего родства, не знающего и не понимающего, что такое Родина, — человека интернационального"*.

Повторю: вполне логичный и потому неопровержимый вывод! Но и он не был неожиданным для меня: редактируя "НС", постоянно имея дело с Главлитом (цензурой), я видел, как этот расчет воплощался в дело. И, честно скажу, душа моя противилась идее "нового, интернационального" человека. Я, как и большинство нормальных людей, понимал, что она, эта идея, преждевременна, противоречит мировой тенденции на усиление националистических и, значит, патриотических чувств, преждевременна даже для нашего, *с о ц и а л и с т и ч е с к о г о*, государства и может привести к совершенно противоположному результату, к межнациональным конфликтам, к гражданской войне. Это, собственно, и произошло: "новая историческая общность" в СССР рассыпалась как картонный домик на наших глазах. Высоко поднявшаяся волна суверенитетов была не чем иным, как решительным неприятием упорно насаждаемой интернационалистами идеи "новой исторической общности", ущемляющей и даже оскорбляющей национальные чувства народов.

Есть кое-что и еще познавательное в книге А. Дикого. Но в мою задачу не входит рецензирование ее, популярное толкование. Читатели имеют возможность и сами разобраться в ее достоинствах и недостатках.

Я лишь повторю: хорошая все-таки это штука — гласность! Те, кто провозгласил и утвердил ее в целях захвата власти, думали, наверное, что в союзе с нею они будут забивать "голы" только в ворота "большевиков", "верных ленинцев" (ряды которых они успели покинуть), но вдруг с ужасом обнаружили, что она, гласность-то, не менее хлестко бьет и по их воротам; обнаружили и буквально ударились в панику, и стали делать все, чтобы утихомирить ее, разыгравшуюся, обуздать... В результате лет пять уже — не меньше — слово это, "гласность", *д а ж е н е п р о и з н о с и т с я* ни с экрана телевидения, ни по радио, а уж тем более не печатается...

Но игра не закончилась. Игра продолжается...

Благодаря гласности читатели получили возможность ознакомиться наконец не только с "Архипелагом ГУЛаг" А. Солженицына, но раскрыть, не таясь, и "Дни" В. Шувльгина, и "Окаянные дни" И. Бунина, и романы "белых генералов" Краснова и Деникина, и многое из того, что было написано писателями, жившими в СССР, но находившимися, так сказать, "под домашним арестом", как, например, роман А. Платонова "Чевенгур" или повесть сибиряка Вл. Зазубрина "Щепка".

В. Астафьев, рекомендуя журналу эту повесть (он узнал о ней раньше нас), рассказал, что она 65 лет была под запретом. Друзья В. Зазубрина, рискуя жизнью, утаили все же один экземпляр ее от "всевидящего ока" НКВД, и крамольное сочинение писателя-сибиряка теперь увидело свет, причем сразу в двух изданиях — в альманахе "Енисей" (Красноярск) и в журнале "Сибирские огни" (Новосибирск). Оба издания вышли небольшими тиражами: провинция все-таки... А повесть своим невыдуманным трагизмом буквально переворачивала душу современного читателя, открывала ему глаза на то, что в официальной литературе называлось "гражданской войной в Сибири".

Молодой В. Зазубрин, работая над книгой, меньше всего задумывался над тем, что можно сказать, а что нельзя, резал, что называется, правду-матку в глаза... Такой же предельно реалистичной была и первая его книга — роман-хроника "Два мира", принесшая ему заслуженное признание и славу.

И та, и другая стали, по сути, страшными свидетельствами, иллюстрацией *р е а л ь н о г о с о д е р ж а н и я к л а с с о в о й б о р ь б ы*, яростно проповедуемой тогда большевиками-интернационалистами. Повесть "Щепка" — особенно. И мы не могли не согласиться с В. Астафьевым, что ее должны прочитать все, чтобы узнать подлинную правду об антихристовом оружии революции и гражданской войны — Чека (в повести — губернской Чека), поставившей дело истребления людей в буквальном смысле на поток.

Литературоведы удивляются гению М. Шолохова, создавшего первую книгу "Тихого Дона" почти в юношеском возрасте. Но вот и В. Зазубрину было всего лишь 24 года, когда он приступил к роману "Два мира", а в 25 книга была закончена! Огромным, показалось мне, талантом обладал этот русский самородок, и, угоди он рождением на другие, более спокойные годы (тургеневские, например, или толстовские), мать-Россия

прижимала бы к груди еще одного выдающегося сына. А. М. Горький в предисловии к пятому (1928 года) изданию "Двух миров" воскликнул: "Хорошая, нужная книга! Написал ее человек весьма даровитый".

Горький слов на ветер не бросал...

Что привлекло его внимание в романе В. Зазубрина? (Да и не только его, официальной критики тех лет — тоже.) В первую очередь, думаю, в ы г о д н а я большевикам правда об одной из самых кровавых страниц гражданской войны в Сибири — о колчаковщине. Перед читателями одна за другой раскручивались сцены массовых казней, предания огню сел и деревень, насилования женщин — одним словом, всего того, что свидетельствовало о потере человеческого лица людьми, волею судьбы оказавшимися в числе "белых".

Зазубрин видел все это своими глазами (так сложилась его судьба) или слышал от очевидцев и был потрясен, и в состоянии этого потрясения взялся за перо... Получилась правдивая, честная и вместе с тем трагическая книга!

Но довелось ему потом увидеть и обратную сторону медали — людей, противостоявших белым, "рыцарей революции", — и с еще большей душевной болью убедиться, что и они, увы, были не ангелы, что великий грех взаимного смертоубийства вытравил и из их сердец все человеческое, оставив взамен одно, звериное...

И он, наивный молодой человек, с таким же откровением, со столь же решительным неприятием зла бросился ж и в о п и с а т ь и к р а с н ы х, которых для него тогда олицетворяла Чека одного из губернских городов Сибири, конкретно — ее Председатель — Срубов, его подручные Ефим Соломин, Семен Худонотов, Наум Непомнящих, Ян Пенел, Исаак Кац...

...В подвале купеческого особняка под личным наблюдением Срубова день и ночь, как скотину на бойне, убивают людей, расстреливают без суда и следствия, по списку, составляемому на каждый день самими расстрельщиками, то есть чекистами... Вот ввели очередную пятерку. Заставили раздеться. Догола. Комендант в красной фуражке и красных галифе приказал... Нет, невозможно пересказать т а к о е, буду цитировать.

Итак, комендант приказал:

— Повернитесь.

Приговоренные не поняли.

— Лицом к стенке повернитесь, а к нам спиной. — Срубов знал, что, как только они станут повертываться, пятеро чекистов одновременно вскинут револьверы и в упор каждому выстрелят в затылок.

...Больно стукнуло в уши. Белые сырые туши мяса рухнули на пол. Чекисты с дымящимися револьверами быстро отбежали назад и сейчас же щелкнули курками: У расстрелянных в судорогах дергались ноги...

Двое в серых шинелях ловко надевали трупам на ноги петли, отволакивали их в темный загيب подвала. Двое таких же лопатами копали землю, забрасывали дымящиеся ручейки крови. Соломин, заткнув за пояс револьвер, сортировал белье расстрелянных. Старательно складывал кальсоны с кальсонами, рубашки с рубашками, а верхнее платье отдельно.

...В темном конце подвала чекист ловил петли, спускавшиеся в люк, надевал их на шеи расстрелянных, кричал вверх:

— Тащи!"

Там, наверху, во дворе стояли грузовики. Трупы расстрелянных грузили на них. *"Когда выше бортов начали горбиться спины трупов, стынувшие и синеющие, как горбы сугробов, тогда брезентом, серым, как туман, накрывали грузовик".*

И он уходил за ворота на кладбище.

...Но вот Срубов из подвала поднялся на третий этаж в свой кабинет: передохнуть. *"Только когда выпил и прошелся по кабинету — заметил, что от двери к столу, от стола к шкафу и обратно к двери его следы шли красной пунктирной линией, замыкающейся в остроугольный треугольник... Маркс на стене выпятил белую грудь сорочки. Увидел — разозлился:*

*— Белые сорочки, товарищ Маркс, черт бы вас побрал".*

Любопытнейшая фраза!.. Что в ней? Злость? Да, но и прозрение! Белая сорочка в глазах Срубова в эту минуту настолько резко контрастировала с красной кровью на его сапогах, что у него невольно шевельнулось что-то в башке. И на фоне этого контраста до вселенских размеров выросла его трагедия, трагедия человека, поверившего белым сорочкам и превратившегося в палача.

И самое страшное, подчеркивает автор, что он, Срубов, не исключение, не выродок какой-то, а норма, такой же, как все "работавшие" в подвале.

Читаем:

*"Товарищ Срубова по гимназии, университету и по партийному подполью Исаак Кац, член коллегии Губчека (в соседнем городе. — С. В.) подписал смертный приговор отцу Срубова, доктору медицины Павлу Петровичу Срубову..."* Переведенный вскоре



в город, где председателем Губчека был сын казненного, Кац при первой же встрече, за чашкой чая, объясняет коллеге свой поступок:

*— Никак нельзя было не расстрелять. Старик организовал общество идейной борьбы с большевизмом — ОИБ. — На его лице, бритом, красном, мясистом, с крючковатым острым носом, в его глазах, зеленых, выпуклых, было деревянное безразличие...*

*Срубов слушал, медленно набивал трубочку, убеждал себя, что расстрел отца был необходим, что он, как коммунист-революционер, должен согласиться с этим безоговорочно, безропотно"...*

И согласился...

Финал повести вполне логичный для того времени. Срубов, не выдержав напряжения по ч е т н о й, но кровавой работы, доверенной ему революцией, ударился в запой, тронулся умом, несколько месяцев был не у дел. За это время к его креслу хорошо притерся Исаак Кац. И вот Срубов перед ним, в бывшем своем кабинете, в качестве провинившегося, чуть ли не изменника. И Кац допрашивает его:

*"Лицо у него — круглый чайник. Нос — дудочка острая, опущенная вниз... А вопрос — пытка. Да хотя бы уж допрашивал. Куда там — лекцию читает: авторитет партии, престиж Чека!*

*— Ну, поставь себя на мое место. Ну, скажи, что я должен делать, когда ты стал позорить Ее, ронять Ее достоинство?"* — "по-дружески" утешает своего вчерашнего начальника и подельника Исаак Кац. Срубов, глядя ему в глаза — свинцово-тяжелые, водяные, понимает: это конец. Так оно и вышло. Едва он закрыл за собой дверь, Кац отдал распоряжение начальнику тюрьмы подготовить одиночную камеру... В р е м е н н о. Что это означало, начальник тюрьмы хорошо знал...

"Щепка" была напечатана в № 9 "НС" за 1989 год. И стала, таким образом, достоянием массового читателя. Естественно было ожидать, что перестроечные издания — поборники гласности, а "Литературка" в первую очередь, поражаются возвращению в литературу еще одного талантливого произведения, воспользуются случаем рассказать современникам о трагической судьбе автора — талантливейшего русского писателя. Увы, ни одно массовое издание (в том числе и "Литературная газета") ни словом не обмолвилось о повести. Видимо, что-то в ней явно не устраивало "демократов"... Что?..

В 1980 году, за пять лет до гласности, в Иркутске в серии "Литературные памятники Сибири" был издан том сочинений В. Зазубрина, в который вошли романы "Два мира" и "Горы". В послесловии, написанном литературоведом В. Трушкиным, "Щепка" только упоминается, причем не как повесть, а как роман "о революции и чекистах", рукопись которого, "к сожалению, оказалась утраченной". Теперь мы знаем, что это была ложь, наверняка вынужденная... А о самом писателе сообщается: "Беспокойная, напряженная жизнь этого на редкость яркого и талантливого человека оборвалась преждевременно и неожиданно. Умер он 6 декабря 1938 года".

Тут все правда. Кроме последней фразы. Русский самородок — писатель Владимир Яковлевич Зазубрин — в указанный день б ы л р а с с т р е л я н. Я не знаю, какое обвинение было предъявлено ему опричниками НКВД, однако не удивлюсь, если скажут, что главное место в нем занимала повесть "Щепка".

Не могли наследники Срубова и Каца простить ему столь убийственного разоблачения звериной, черной, палаческой сути Чека...

Сегодня, наверное, только земляки писателя да литературоведы знают, что родился В. Я. Зазубрин (настоящая его фамилия Зубцов) в 1895 году в Пензе, в семье рабочего-железнодорожника. В 1918 году, как пишет В. Трушкин, был мобилизован белогвардейцами. Затем оказался в Иркутском военном училище. Осенью 1919 года вместе со своим взводом перешел на сторону сибирских партизан. Потом работал в печати — был редактором газеты "Красный стрелок" политуправления 5-й армии, сотрудником журнала "Сибирские огни". В конце 20-х годов В. Зазубрин переехал в Москву. При активной поддержке А. М. Горького был принят на работу в Госиздат, а потом заведующим отдела журнала "Колхозник"...

Шел 1937 год...

Как все-таки не везет русской литературе!..

## XVII

...Я любил этого писателя. Любил не просто как человека — с этой стороны я не успел узнать его достаточно, — любил именно как писателя, потому что он был бесспорно талантлив, умен, образован, обладал твердым характером и, как ни странно при таком характере, еще и чувством юмора... Читая его только в переводах, я все равно чувствовал его талант. Нам, пишущим, известно, как много порою теряет

произведение, будучи переведено на другой язык, как бледна бывает копия в сравнении с оригиналом... Но уважаемому писателю (назову его Н. Н.) и в этом повезло: нашелся в Москве переводчик под стать его таланту. Н. Н. понимал это (он хорошо говорил на русском языке), и все, что выходило у него из-под пера, он отдавал для перевода только "своему" переводчику — тоже известному в русской литературе писателю.

Мы с Н. Н. были уже давненько знакомы, встречались и в Москве, и в его родном городе — столице республики, он благодарил меня за состоявшиеся уже публикации, а я в ответ говорил, что делал это с радостью, потому что ценю его талант и всегда жду от него новых предложений.

При последнем таком разговоре он сказал: "Скоро пришло!" Ждать пришлось недолго. Новую вещь его принес в редакцию переводчик, разумеется, по его просьбе. Я прочитал сразу же, отодвинув в сторону уже лежавшие на моем столе рукописи: в успехе Н. Н. я не сомневался... И чутье не подвело меня.

Через неделю, вспомнил я, пойдет в набор очередной номер. Почетное место в нем займет Н. Н., — и подписал рукопись в набор.

Через три месяца номер вышел в свет. По содержанию — отменный! Весь! Но произведение Н. Н. и в нем выделялось. Я уже собирался черкнуть автору письмецо, поздравить его с успехом, как Н. Н. объявился в Москве сам, позвонил мне. Со всей искренностью, на какую был способен, я поздравил Н. Н. с выходом журнала. "Спасибо, спасибо, Сергей Васильевич! — бормотал он в трубку. А потом добавил: — Давай пообедаем вместе!.. Если ты, конечно, не возражаешь".

Я и не подумал возражать... Пообщаться с уважаемым автором, послушать его мнение о журнале, о литературной жизни в его республике, поразузнать, кто с чем выступил в последнее время в печати, кого нужно, по его мнению, перевести и напечатать, — да мало ли о чем еще — не только приятно, но и полезно.

— А где ты остановился? — спросил я.

— В гостинице "Москва". Я тебя встречу, если назовешь время.

— В пять часов... Идет?

— Договорились.

Я приехал минут на десять раньше, присел в вестибюле, развернул газету. Минут через пять вышел из лифта он; увидел меня, поднял руку, приветствуя, подошел.

— Вот это пунктуальность! — улыбнулся я, здороваясь.

— А как иначе?.. В КГБ работаю!

Столь неожиданный ответ, помню, привел меня в некоторое замешательство: вроде бы пошутил Н. Н., но можно было подумать, что и нет, потому что ни в том, как это было сказано, ни в выражении лица не было ничего от шутки — фраза прозвучала, как информация или как объяснение своего поведения... Но я все-таки принял это за шутку, не совсем, как мне подумалось, уместную и даже неудачную, но... для гостя извинительную. И потому тут же забыл о ней... Да и в самом деле, хорош был бы я, когда хотя бы на минуту поверил, что он и впрямь "работает" в КГБ. Тем более что и сам он, кажется, уже забыл о сказанном...

— Пообедаем в номере, — произнес он, как решенное. — Не возражаешь?

А почему я должен был возражать? Хозяин — барин... Да нет, тогда я даже и об этом не подумал, потому что предложение было вполне естественным: мало ли приходилось сживать в номерах гостиниц за чашкой чая... Особенно во время работы съездов или пленумов СП, когда в Москву съезжались все известнейшие писатели России и республик...

Стол в номере был уже накрыт. Я снял пальто, одернул пиджак, ослабил узел галстука и, не церемонясь, шлепнулся на диван напротив стола, достал сигареты...

— Что будем пить? — распахнув дверцу буфета, спросил Н. Н. и взял одну из стоявших там бутылок. — Коньяк? Водку?

Я не успел ответить: зазвонил телефон. Н. Н. снял трубку, прижал ее к уху, слушает... И никаких эмоций вроде: "О-о! Привет, брат, привет! Ну, как жив-здоров?" Слушает, глаза в пол, односложно бормочет: "Угу... Понял... Да... Ясно... Есть..."

Я, наивный человек, когда он положил трубку, полюбопытствовал:

— Кто звонил?

Подумал, может, это кто-то из общих наших знакомых, и я, конечно, не возражал бы, если б в номере появился и он... Но Н. Н. ответил:

— Да знакомый один...

И я вполне удовлетворился ответом: мало ли могло быть у него знакомых в Москве. Выпили. Закусили. Разговорились. Я — снова и снова о достоинствах его нового произведения, он — о других материалах в номере. А о чем еще могут говорить редактор и автор журнала?.. Но у Н. Н. нет-нет да и вырывался дополнительный к этому разговору вопрос: "А что он за человек?" Это — о каком-нибудь авторе журнала. Я с полной уверенностью отвечал: "Наш мужик!" Правда, об одном из авторов я не мог сказать столь определенно, поскольку он, как мне казалось, мог подыграть и нашим и вашим.

Н. Н. снова наклонил бутылку... "Питух" я всегда был плохой, а к тому времени и совсем никудышный — и возраст, и состояние здоровья заставляли сдерживаться... Н. Н., опасаясь, видимо, как бы я не подумал, что он меня спаивает, не давил на меня, действовал на мою "совесть" не словами, а, так сказать, "личным примером". Хоп! — и до дна. И вторую, и третью — тоже, отводя тем самым всякие подозрения с моей стороны. А может быть, в его положении лучше всего и было — выпить?... Но об этом я подумал потом...

О чем еще мы говорили, я теперь уже не помню, а не помню потому, что не придавал никакого значения этому разговору, болтал о чем попало по принципу: что на уме — то и на языке. Скрывать мне было нечего.

Время за такими беседами летит очень быстро. И я, глянув на часы, понял, что мне пора...

— А где ты живешь? — спросил Н. Н.

— Да недалеко, в Центре... — ответил я и совершенно неожиданно для себя добавил: — Хочешь, поедом ко мне? Чай хороший заварю... С женой познакомлю.

— А что... — живо откликнулся на мое предложение изрядно пьяный уже Н. Н. — И поеду! И познакомлюсь!

— Отлично! Тогда встаем. Машина ждет...

...Едва мы скинули пальто и ступили в прихожую, мой гость снова ошарашил меня:

— Я в квадрате 14—37, — отчетливо проговорил он, обходя холл...

"Пошутил" опять. Но на сей раз совершенно некстати... Признаться честно: я сник, удручен. Спросить бы, что это значит, но побоялся показаться смешным... А пуще — оскорбить гостя подозрением. Промолчал.

Потом был чай... И, что греха таить, был пьяный разговор с обычными комплиментами женщине, разговор, который я уже плохо воспринимал, потому что новая шутка гостя буквально сломила меня и даже отрезвила. "Что все это значит? — думал я, выстраивая в ряд и первую его шутку, и разговор его по телефону в номере... — Неужели?... Но нет, нет... Не может быть!" Время было уже совсем позднее. Н. Н. вспомнил наконец о том, что ему надо еще добираться до гостиницы, снял трубку телефона, набрал номер (по памяти!) и попросил прислать машину по адресу... Через полчаса мы попрощались с ним.

Весь следующий день я думал о случившемся. И пришел к выводу: Н. Н. насчет "работы в КГБ" — не шутил. Пригласить меня на обед в номер (уверен, специально оборудованный!) — это было задание ему, от которого по правилам и х и г р ы он, видимо, не имел права отказаться. Номер наверняка прослушивался. И разговор записывался. И Н. Н. это знал. И потому, встретив меня в вестибюле, решил хоть как-то, не впрямую, в форме шутки, предупредить меня, насторожить, чтобы я не наболтал лишнего, не навредил себе. Я имею право думать так, потому что не было у Н. Н. ни малейшего повода "сделать мне плохо". Он знал мой журнал, разделял его патристическую направленность и потому охотно печатался в нем...

Однако кой-кого в КГБ (а скорее — не столько в КГБ, сколько в другом месте) многое в журнале не устраивало, а точнее — не устраивал сам редактор журнала. Нужен был компромат. Лучшего способа, как подпортить человека и "зафиксировать", что он будет болтать, — пока не придумано. Но, к великому сожалению подслушивателей, ничего интересного в моей болтовне они не нашли. Не дал ничего и осмотр моей квартиры их сексотом.

Я уверен, что "отчет" Н. Н. о нашей встрече был абсолютно честным, объективным... И я по-прежнему уважаю его, живущего теперь за границей, в "ближнем зарубежье"...

## XVIII

Письма в редакцию... С каждым днем их приходило все больше и больше. А так ли уж это и просто, часто думалось мне, — прочитав в журнале роман или статью, взять и написать автору или редактору о своих впечатлениях? Сужу по родным и знакомым: не просто... Для иных не то что в редакцию некогда (или лень?) написать, но даже матери, отцу, брату, сыну, другу закадычному черкнуть — и то проблема. И тем не менее находятся все-таки и среди занятых, и среди ленивых герои, которые и в наше холодное телефонно-телеграфное время вершат этот "подвиг" — пишут!

И тогда ложатся на бумагу слова: "Уважаемый редактор! Никогда раньше не писал в редакцию, и вот..."

И вот написал! Задело, значит, человека прочитанное. Так задело, что отодвинул все — занятость, лень — и схватился за перо. И не ради того только, чтобы похвалить или обругать автора, а вместе с ним и редакцию, — нет, захотелось высказать свое мнение, свое понимание проблемы, поднятой в статье. А свое — оно всегда выстраданное, всегда от личного жизненного опыта, от боли душевной, и этим, надеется

пишущий, — именно этим! — должно привлечь внимание писателя, а может быть, и руководителя ведомства, которому надлежит безотлагательно решить важную, на его взгляд, проблему.

Нельзя не порадоваться такому письму: не о себе печется человек — о государстве! И как дельно рассуждает, как глубоко копает! Читай да мотай на ус, как говорится... Ну а если таких писем пришло не два, не три, а пятьсот, восемьсот, тысяча... Как с ними быть? Напечатать? Невозможно: журнальная площадь не позволяет... Выбросить, сдать в архив? И то и другое неуважительно и даже оскорбительно по отношению к пишущим. Ведь в письмах бьется, кипит, как струя в роднике, живая народная мысль, народная дума, проникнутая искренней заботой о государстве, желанием подсказать его руководителям, к а к надо вести дело, чтобы жизнь шла в гору, к благополучию и расцвету, а не наоборот.

Прочитать такие письма — все равно, что выслушать сразу тысячу ходяков, нагрянувших к тебе (Ленин, помните, и одного привечал); выслушать в разговоре с глазу на глаз, а не "через красное сукно", как это водилось в те времена. Groш цена была тем разговорам... "через сукно"... по бумажке...

Особенно много писем приходило — и это я знаю тоже не понаслышке — после выступления по радио. Да и не удивительно: с л у ш а т е л е й в стране и тогда было намного больше, чем ч и т а т е л е й. Если "НС" в каждой семье читали два-три человека, то его аудитория составляла тысяч этак семьсот—восемьсот (при тираже 350 тысяч). У радио же аудитория всегда миллионная!

Романы по радио читались редко. Зато статьи, очерки — сплошь и рядом... Напечатал я как-то в "НС" большой очерк "Вторая целина", посвященный проблемам Нечерноземья. Партия и правительство вознамерились в то время "поднять" наконец злосчастное это Нечерноземье, то есть центральную часть России, п о д т я н у т ь е е к у р о в н ю б ы в ш и х "о т с т а л ы х о к р а и н"...

Один из тогдашних руководителей высокого ранга в журнальной статье назвал области центра России "второй целиной". Назвал, наверное, с благородным намерением — хотел подчеркнуть значительность поставленной партией задачи, дать народу тот самый настрой, с каким поднималась первая, казахстанская, целина. Но вышло совсем другое: русских людей резанули эти самые слова: "вторая целина"...

— Вот как!.. — с возмущением говорили они, — пахали, пахали землю — тысячу лет, не меньше! — и стала она "целиной"! Как говорится, слезай — приехали! Чьими же это молитвами превратилась она, земля центральной России, в "целину"?

Возмущались не тем, что название это не соответствовало реальному положению дел в земледельческой России, а тем, что слишком поздно руководители государства обнаружили эту "целину", хотя она буйствовала полынью да лебедой у них под носом уже не первое десятилетие. Долго, упорно "культивировали" ее "радетели" русского поля. Добились-таки своего!

Старшие по возрасту пахари русского поля почти поголовно полегли на полях сражений, их жены, окончательно повытянув жилы, свалились с ног, сыновья и дочери убежали куда глаза глядят, как убегают с каторги, — в тот же Казахстан, где можно было — по праву первоцелинников — обзавестись паспортом.

Все эти мысли и легли в основу моего очерка. Я вполне сознательно назвал его "Вторая целина", вкладывая в эти слова горький и даже саркастический смысл, — верил, что он будет понят читателями. И, кажется, не ошибся. Пошли письма. В основном одобрительные... А потом был звонок из радиоредакции. Ирина Степановна Грачева сообщила, что она с большим интересом познакомилась с моим очерком в журнале и считает, что его надо — обязательно надо! — прочитать по радио. Я, конечно, не возражал. Ирину Степановну я знал как умного, опытного редактора, а главное, как честного и мужественного человека, лояльно относящегося к нашему журналу, и не поверить в искренность ее намерения не мог.

Вскоре выступление мое на радио состоялось. И мне снова представилась возможность убедиться, что с л у ш а т е л е й в стране действительно больше, чем ч и т а т е л е й. Об этом свидетельствовали хлынувшие потоком в радиоредакцию письма-отклики. Ответить на каждое — нужно время. А у меня его не было. Ирина Степановна предложила выступить с обзором моей почты и таким образом ответить сразу всем корреспондентам.

Я предложение принял. И тут же принялся перечитывать письма еще раз, раскладывая их по темам, делая выписки... Интересной, даже захватывающей была эта работа! Я делал все новые и новые открытия для себя, обогащался бесценными фактами, статистическими данными, а кроме того, сюжетами, каких из пальца не высосешь: многие авторы были предельно открытыми передо мной, как на исповеди. И это радовало меня.

Восхищаясь глубиной и новизной суждений моих корреспондентов, я одновременно и горевал, сознавая, что они не дойдут до руководства страны. А если что-то и дойдет,

то это будет делом случая. А надо, чтобы письма в редакции в с е х газет и журналов, радио и телевидения стали предметом постоянного внимания руководителей партии и правительства. Но в первую очередь — партии, потому что ведет и направляет она. По письмам, как врач по пульсу, партия могла бы проверять эффективность своих решений и постановлений, корректировать генеральный курс. Глас народа — глас Божий. И потому правильно было бы иметь при ЦК партии специальные отделы, изучающие письма читателей-слушателей, тесно контактируя в этом деле со всеми редакциями.

Именно этим предложением закончил я обзор писем-откликов на свой очерк "Вторая целина". К сожалению, оно не было услышано. Мнение народное, по всей видимости, мало интересовало тогдашних "вождей"...

Но вернусь к журналу.

Конечно, не каждый напечатанный в очередном номере материал находил отклик в душе читателя. Умного, неравнодушного читателя, как старого воробья, на мякине не проведешь. Он "клюет" только "золотые", спелые зерна правды. На "мякину" не реагирует.

...Две статьи нашего публициста Ивана Синецына под заголовком "Учение и труд" (№ 1 и 2 за 1982 г.) оказались именно такими — "золотыми", и с точки зрения правды, и потому что были актуальны. Автор попал, что называется, в точку, начав волнующий всех учителей разговор о насильственно насаждаемой в те годы системе "воспитывающего обучения".

Сторонники этой системы (тогдашний зам. министра просвещения Коротков даже книгу издал — "Воспитывающее обучение") любую попытку привлечения школьников к труду в поле или на заводе презрительно называли "мозольной педагогикой", демагогически заявляя, что "ученье — это тоже труд", причем более высокой организации — воспитывающий!

Так-то оно так, — отвечал им Иван Синецын. — Но, "потрудившись" за партой до 17—18 лет, молодые люди выходят в жизнь полными неумеками, белоручками, с книжными представлениями о профессии, без малейшей привычки к труду. Побывав во многих школах России, Украины, Казахстана, Азербайджана, познакомившись с выдающимися успехами энтузиастов макаренковской педагогики — учителей-новаторов В. Ф. Шаталова, В. В. Кумарина и других, — Иван Синецын пришел к выводу:

"Сегодня с невиданной остротой, жестко, резко, в упор жизнь требует, чтобы в школе объединились два великих ч е л о в е к о т в о р ц а — У ч е н и е и Т р у д. Горькая и тяжкая беда, что они десятилетиями живут у нас в разрыве. Один без другого — они бракоделы поневоле. Они рождены работать в паре. Только рядом, только вместе — и никак иначе!"

Ох, и окрылили же эти слова учителей! Журналы со статьями Ивана Синецына передавались в школах из рук в руки; в учительских стихийно возникали чуть ли не митинги с горячими монологами в поддержку автора и с критикой, аргументированной критикой Министерства просвещения СССР, возглавляемого тогда министром М. А. Прокофьевым.

Обо всем этом мы узнавали из писем учителей. В редакцию и самому Ивану Синецыну пришло их более тысячи. Писатель внимательно перечитал все, выбрал наиболее обстоятельные, с изложением конкретного опыта, с глубокими раздумьями о положении дел в школе, с искренним желанием помочь Министерству просвещения выработать отвечающую духу времени систему трудового воспитания школьников. Получилась профессионально весомая, умная подборка, и я тут же направил ее в набор, будучи убежден, что она еще раз всколыхнет армию учителей, а заодно и дремлющую Академию педагогических наук, и чиновников Минпроса.

Так оно, наверное, и было бы... Но Главлиту наша акция показалась, видимо, слишком опасной: Министерство просвещения в письмах учителей подвергалось хотя и справедливой, но резкой критике. Ну а министерство — это кто? Власть! Одна из структур власти. А кем направляется и контролируется эта структура? Как и все другие — партией, конкретно — идеологическими отделами ЦК. А еще конкретнее — товарищем Зимяниным.

Ему, как всегда в подобных случаях, и было доложено о нашем намерении (в чем мне позже пришлось убедиться). Ответ из ЦК был однозначным: снять. Уверен, что он был именно таким, потому как цензор подборку действительно снял — решительно и безоговорочно, а сделать это он мог, только согласовав со Старой площадью.

Узнал, конечно, о нашей подборке и министр Прокофьев, узнал, надо полагать, от самого Зимянина или от кого-то из его людей. Секретарь ЦК, информируя министра, мог и посоветовать ему в связи с критикой в статьях Синецына, а посетовав, и совет дать: отвечай, дескать, журналу, если есть что ответить...

И министр ответил. Недели через две. На фоне блестящих, раскрывающих опыт учителей-новаторов статей И. Синецына и далеко не пустопорожних отзывов учителей ответ Прокофьева выглядел жалкой, криводушной бюрократической отпиской. "В условиях советской школы, — писал Прокофьев, — воспитывающий характер обучения

направлен на формирование марксистско-ленинской идеологии... Воюя против воспитывающего обучения, Иван Синицын толкает нас в сторону аполитичности..." Ну и в этом духе — до конца. Сразу же родилась мысль: включить ответ министра в подборку писем и еще раз попытаться опубликовать ее; цензор, думал я, должен успокоиться — ведь в подборке теперь будут наличествовать и критика министерства, и официальное опровержение ее самим министром. Ну а то, что опровержение это не прибавит авторитета министру — цензора заботить не должно... Это дело самого Прокофьева.

Так мы и сделали. Но цензор подборку снова снял. Возмущенный, я решил поискать защиты у Б. И. Стукалина — заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. В письме на его имя я рассказал о несправедливых, на мой взгляд, действиях цензора, квалифицировав их как грубый зажим критики. Именно на "зажим" делал я упор в письме, памятуя о том, что партия резко критиковала и даже наказывала за это всех — от председателя колхоза до... Если б она позволяла критиковать за зажим критики еще и себя! Но — увы...

Ответа от Стукалина я не дождался. Зато дождался звонка из ЦК: приглашали к А. Беляеву... Альберт Андреевич, едва я присел, ошарашил вопросом: "Какое вы имеете право не печатать письмо члена ЦК КПСС Прокофьева?" — "Ого! — подумал я. — Оказывается, он еще и член ЦК! Не знал..." А вслух сказал: "Ответ Прокофьева мы намеревались дать в подборке писем-откликов учителей, но цензор подборку снял..." — "...Так вот, — продолжил Альберт Андреевич, — ответ министра вы опубликуете в ближайшем номере. От редакции сообщите: проблема, поднятая И. Синицыным, заслуживает внимания..." ("Все-таки заслуживает!" — отметил я про себя.) Отзывы читателей на его статьи редакция по договоренности с Прокофьевым передала в министерство для изучения...

Все эти слова Альберт Андреевич почти продиктовал, держа перед собою записную книжку. Нетрудно было догадаться, что они не его выдумка, а распоряжение руководства.

— Альберт Андреевич, — возразил я сдержанно, — публикация письма министра — и только его письма — возмутит учителей и не прибавит авторитета ни министерству, ни Центральному Комитету, поскольку Прокофьев, как вы сами подчеркнули, является членом ЦК.

А. Беляев никак не отреагировал на мои слова: можно было подумать, что он их не слышал...

Письмо Прокофьева мы напечатали: втиснули, хотя и с трудом, в уже сверстанный четвертый (1983 г.) номер. Учительские письма, как и повелел А. Беляев, были переправлены нами в Министерство просвещения.

Для "изучения"...

Прошло с тех пор пятнадцать лет. "Изучение" продолжается...

Чем вызвано было столь нелогичное и потому явно невыгодное для Зимянина и для Прокофьева решение? Желанием выручить министра (приятеля, может быть, а то и друга)? Необходимостью вывести его из-под огня критики, защитив таким образом честь и своего мундира? Вполне возможно...

Действовать именно так — нахраписто, беспардонно — позволяла Зимянину и К<sup>о</sup> безраздельная власть над печатью, да и над людьми — тоже. Если бы в той ситуации верх одержали не кастовые интересы, а государственные, Зимянин и его команда сами включились бы в обсуждение волнующей учителей проблемы и взяли в этом обсуждении сторону большинства. Не трудно представить, как это сработало бы на повышение авторитета партии. А если бы она, партия, поступала так в с е г д а и в о в с е м, народ сам, без подсказки, увидел бы в ней "ум, честь и совесть", и она в самом деле стала бы для него "ведущей и направляющей" силой, которую бы он уважал, на которую бы уповал в трудные минуты, у которой искал бы защиты.

Увы, в большинстве случаев все происходило, как теперь стало модно говорить, "с точностью до наоборот". И не удивительно, что авторитет партии падал, уважение все больше сменялось недоумением, а потом и раздражением, и даже неприязнью.

Вожди-перевертыши чутко уловили перемены в отношении людей к партии; раздувая их, они парализовали здоровые силы в партии, одновременно дав полную волю сатанинским силам антигосударственности и русофобии.

И в том, что члены КПСС в самый трудный момент партию не защитили, сработала не одна только привычка безоговорочно и безоглядно подчиняться решениям ("командам") партийных "верхов" и уж тем более не мифическая "рабская психология" русского народа, нет... Сработала тактика медленного, начиная с XX съезда КПСС, отравления народного сознания ядом "общечеловеческих ценностей", эгоцентризма, приоритета "прав человека" над интересами общества.

Ну а наглые обвинения русских в шовинизме, антисемитизме и даже фашизме служили фиговым листочком этой иезуитской тактике.

Как главный редактор одного из русских журналов, два десятилетия ходивший в интернационалистской партийной узде под началом будущих перевертышей, я многократно имел возможность убедиться в этом.

Борис Можаяев неожиданно предложил "НС" вторую книгу своего романа "Мужики и бабы" (первая вышла в свет тремя годами раньше). Никогда до этого не переступавший порога нашей редакции (он печатался чаще всего в "Новом мире"), Борис Андреевич вдруг воспылал горячей любовью к "НС". Не трудно было догадаться, что в "Новом мире" у него на сей раз дело не выгорело... А может быть, и не только в нем... Но меня меньше всего интересовало, кто читал рукопись до меня и почему она была отвергнута: ни то, ни другое на мое решение — печатать или не печатать — не могло повлиять.

Так было, кстати, с повестями "Пастух и пастушка" В. Астафьева и "Три мешка сорной пшеницы" В. Тендрякова: их отвергли все московские журналы, а "НС" все-таки напечатал!

Первую книгу можаяевского романа я к тому времени прочитал и потому хорошо представлял, как будут развиваться события во второй. Наверняка, думал я, речь пойдет о перегибах местных обалдуев, выбивающих нужный процент коллективизации, а уж о раскулачивании справных мужиков, насильственном выдворении из собственных жилищ, о высылке их с семьями на Север, в Сибирь, — обязательно... Цензура — и я это хорошо уже знал — таких "картин" на дух не выносила.

Но... чем черт не шутит! А вдруг... Ведь многое будет значить не только то, что описывается, но и как... Поэтому читал я рукопись не столько глазами редактора, сколько цензора: пройдет это или не пройдет?... И поначалу чаще, пожалуй, говорил себе "да", чем "нет".

Но вот начались сцены раскулачивания. Жуткие, прямо скажу, сцены. Одну из них (хотя бы одну!) мне придется все-таки привести, чтобы дать почувствовать читателям серьезность намерений писателя, отважившегося рассказать правду о н е с л ы х а н - н о м насилии новой в России власти над своим (над своим ли?) н а р о д о м . Без этого непонятны будут крутые решения и ЦК партии, и Союза писателей в отношении рукописи романа, о которых я расскажу ниже.

Но прежде о том, что автором предпослано приведенной ниже сцене.

Читаем:

"Из округа приехал представитель, давал инструкции — как проводить раскулачивание. Во-первых, начинать одновременно во всех селах, то есть н е д а т ь о п о м н и т ь с я , з а с т а т ь в р а с п л о х . (Здесь и далее выделено мной. — С. В.) Иначе слухи поползут, и главы семейств могут сбежать на сторону. В каждом селе разбивать раскулачивание на две категории: в первую заносить особо опасных и богатых кулаков; этих глав семейств и старших сыновей — **брать под стражу и отправлять с милицией в райцентр или в Пугасово, семьи из домов выселять, с собой не давать никакой скотины, ни добра — вывозить из дому в чем есть**, отправлять тоже в Пугасово к железной дороге. Во вторую группу заносить кулаков многодетных, разбогатевших в основном за счет больших земельных наделов и не имеющих заведений — мельниц, постоянных дворов, лавок и так далее".

Суровая, бесчеловечная инструкция, похожая на инструкцию об облавах, кои проводились немецко-фашистскими завоевателями на оккупированной территории. И вот как она претворялась в жизнь.

...Раскулачивается Прокоп Алдонин, активный участник гражданской войны на **стороне красных**. Не выдержав дикой расправы, Прокоп схватился было за ружье и даже выстрелил — не для самообороны — так, для острстки, — и тут же упал: разорвалось сердце.

Его жена — Матрена — вопит:

"— Куда ж вы нас на мороз-то выселяете, люди добрые? Али мы злодеи какие? Хоть малых детей пожалейте! Ахти! Боже наш милостивый!.. Заступница небесная!.. Вразумите их, вразумите! Не дайте погубить души невинные! — Матрена встала перед печкой, раскинула руки и заголосила пуще прежнего.

Зашевелились на печи, сбились в кучу, как ягнята, ребятишки и с отчаянными воплями отодвинулись в дальний угол. И только один Петька (старший. — С. В.) не тронулся с места; побледнев как полотно, покусывая губы, он все так же сидел, свесив ноги и скрестив на груди руки.

— Ну, чего сидишь, как истукан! — крикнул на него Зенин. — Подавай сюда ребят!

— Не трогайте их! Не трогайте! — пронзительно закричала Матрена и стала биться головой о печку. — Ироды проклятые! Креста на вас нету... Душегубцы оканные!..

В избу вошли Сима и Максим Селькин.

— А ну, взять ее! — приказал Зенин. И четыре мужика, ухватив Матрену за руки и за ноги, поволокли на улицу. Но на крыльце идущий впереди Максим Селькин оступился, нырнул вниз по ступенькам и выпустил правую руку Матрены. В тот же миг Матрена мощной затрепачной отбросила прочь Левку и, обхватив руками за шею Зенина и рабочего в сборчатке, съехала вниз по ступенькам, подмяв их всей тяжестью своего

шестипудового тела. Разбросав их по снегу, отбиваясь, как медведица от наседавших собак, она поднялась на крыльцо и у самого порога упала, сбитая подножкой. Ее снова тащили волоком до самых саней...

— Детей ведите сюда! — хрипел Зенин, заламывая ей руки. — Куда? — остановил он Симу. — Держите ее... За детьми пусть идут Бородина и Федулеев.

Когда те вошли в избу, Петька уже стоял возле дверей, готовый к выходу; в руках, в охапке, держал узелки, собранные матерью в дорогу.

— А это зачем? — ткнул в них пальцем Левка. — С собой ничего брать не разрешается.

— Еда здесь у нас, — сухо сглотнув, сказал Петька.

— И еду нельзя.

— Да ты что, ай очумел? — набросилась на него Санька Рыжая. — Им же до Пугасова ехать... Чай, не в гости на пироги едут! Забирай, забирай! И все выноси в сани. Там тебя мать ждет, — выпроваживала она старшего с узелками.

Потом взялась за малышей, все еще кричавших на печи:

— А кто вас обидел? Кошка? Ох, какая нехорошая кошка!.. А вот мы ей сделаем ата-та!.. Слезайте, слезайте смелее... Там вас мамка ждет. Поедете в новый дом. Здесь же вон — холодно. Окна разбиты..."

Вот так... А вы, господа, орете: права человека! Права!.. Права!..

В доме Матвея Амвросимова — одного из трех братьев, занимавшихся вывозом хлеба, скупленного у крестьян по осени, к речной пристани, внешне все происходит спокойно, без стрельбы, без рева. Но только внешне. С трудом выговаривая слова — душила обида, — Матвей пытается усовестить уполномоченных по раскулачиванию:

— "...Мы же не гноили хлеб-то, а сухоньким доставляли на речные суда. В города отсылали... И за это нас теперь казнить надо?

— Никто вас не казнит, — потупился Кречев, — а только в колхоз не велено пущать. Поскольку вы идете по статье зажиточных. Сам товарищ Каганович указание давал. И товарищ Штродах из Рязани присылал инструкцию. Чтоб не смешивать с трудящимися, с бедняцко-средняцкой массой, а отправлять вас на поселения...

— Каганович да Штродов? Что-то не слышали мы этих фамилий, когда в гражданскую казаков ломали. А теперь, вишь ты, сыскались..."

Трагические сцены и, несомненно, правдивые! — думал я, листая рукопись. — Но не пропустит их цензор, не пропустит... Как и вот эти рассуждения сельского интеллигента, учителя Успенского: слишком прозрачный намек, скажет...

Успенский, обращаясь к своим друзьям, собравшимся у него в доме, говорит:

"... — Вы посмотрите на них. Как взяли власть — сразу переселились в царские палаты да в барские особняки. Слыхали, поди, как Троцкого выселяли из Кремлевского дворца?.. Полгода не могли вытащить его оттуда. Пайки для себя ввели, закрытые распределители! На остальных — плевать!"

Да, намек, действительно, слишком прозрачный...

Но вот перевернут последний лист рукописи. Откинувшись на спинку стула, с грустью думаю: хорошая, нужная вещь, но напечатать ее я не смогу, как бы этого мне ни хотелось. И когда мы с Можаявым встретились снова, я так ему и сказал.

— Да ты сдавай рукопись в набор, все в порядке будет. Солодин читал...

— Как... читал? — вскинулся я. Для меня это было настолько удивительно, что я не поверил. — Солодин читал роман в рукописи? — переспросил я Бориса Андреевича.

— Да ну... по-товарищески... Мы с ним хорошо посидели как-то... и... в общем, читал. И сказал: подпишет... Дело за тобой. Не веришь?

— Да верю... За "рюмкой чая" Солодин может подписать любой роман. Это его ни к чему не обязывает. За чаем он всего лишь Солодин... Владимир Алексеевич... А в своем кабинете на Китайском проезде, извини-подвинься, он цензор! И там он будет разговаривать не с тобой, а со мной... Так что зря ты с ним чаи распивал.

Можаяв пропустил мою шутку мимо ушей.

При каждой новой встрече — а встречались мы часто, потому как жили в одном доме — он, взяв меня под руку, отводил в глубь двора и начинал тоном заговорщика (для пущей важности!) нашептывать мне что-то насчет здоровья генсека, возможной перемены "климата", ну и, конечно, опять о цензоре — дескать, это не треп, это серьезно, и я могу смело отправить рукопись в набор.

— Нет, Борис, не могу.

— Боишься? — съехидничал Можаяв.

— Да, боюсь... Не за себя, за журнал. Еще одной "антисоветской" публикации журналу не простят. А то, что твой роман будет квалифицирован именно так — я не сомневаюсь. Поэтому решение печатать или не печатать его должен принять секретариат, и не "малого", а "большого" Союза. Да, да, это именно тот самый случай!.. Хочешь, я официально обращусь к Маркову с просьбой обсудить роман на секретариате?



— Да не станут они обсуждать, хотя я бы и не возражал.

— А давай попробуем! Пускай они хоть раз покажут писателям, какие они умные да храбрые... А я им поаплодирую! Пускай... А то — одно только и знают: распинать редакторов... Ни за что не отвечая...

...И я обратился к Маркову с такой просьбой.

Прошло какое-то время — пригласили в ЦК, в отдел культуры, теперь уж не помню, под каким предлогом... Заглянул в комнату инструкторов, не успел перекинуться парой слов со своим куратором — попросили пройти к товарищу Шауро.

Захожу. В кабинете кроме "хозяина" А. А. Беляев и... Георгий Можаевич Марков! Впервые встретился с ним на территории ЦК... Подумал: случайно... У него, чай, не меньше дел, которые необходимо согласовывать в ЦК... Сел. Шауро спрашивает:

— У вас рукопись романа Можаева?

— У меня, — отвечаю.

— Верните ее автору и посоветуйте ему положить ее куда-нибудь подальше, чтобы она "случайно", "без его ведома" не ушла на Запад. Это в его интересах...

— Но еще один экземпляр романа находится в издательстве "Советский писатель", Василий Филимонович. С ним у автора договор, и аванс уже получен, — дал справку А. Беляев.

— Пусть издательство выплатит ему весь гонорар, — это уже сказал Марков.

— А рукопись тоже вернет, — добавил Шауро.

Вот такой разговор состоялся в кабинете заведующего отделом культуры ЦК. И мне стало ясно, что обсуждение, о котором я просил Маркова, уже состоялось... Ну, а решение — вот оно... Другого я и не ожидал. О чем оно говорило? В первую очередь о том, что нравственное, политическое осмысление "великого перелома", мягко выражаясь, и для руководства партии было нежелательно. В "Кратком курсе" истории партии сказано, что это было великое революционное деяние большевиков, с точки зрения истории — прогрессивное, и, значит, никаких других толкований быть не должно: слово партии — последнее слово.

...Но что же было потом с романом, вернее — со второй книгой романа "Мужики и бабы" Б. Можаева?.. Книга вышла, правда, с некоторой отсрочкой: закончил автор ее в 1980 году, а напечатал в 1987-м... За семь лет, пока она гуляла по редакциям, а потом лежала в столе писателя, очень много воды утекло... Закончилась "эпоха пышных похорон" (трижды осиротела партия за это время); наследники "верных ленинцев", поколебавшись малость, у себя на кухне избрали вождем партии, а значит, и народа наконец молодого (он еще и пенсионного возраста не достиг) — Горбачева. Не долго думая (все уже было продумано там, где надо), он провозгласил перестройку, а в качестве теоретического, а можно сказать, и идеологического обеспечения ее — гласность с хлесткими лозунгами: "Можно все, что не запрещено!", "Нет запретных зон для критики..."

И это было не чем иным, как слегка завуалированным призывом срывать завесу тайны, замки запретов с любых событий советской истории, а истории партии — в первую очередь.

Вот тогда и пришло время "Мужиков и баб" Б. Можаева! И Борис Андреевич его не проворонил. Разуверившись в московских редакторах, предложил свое сочинение одному из провинциальных журналов, и тот "смело" тиснул его. Не понимая всей подоплеку происходящего, Можаев (впрочем, как и все мы) счастливое завершение истории с публикацией своей книги целиком и полностью относил на счет смелого редактора журнала, а потом и издательства, хотя никакой смелости уже и не требовалось, потому как цензура Горбачевым и К° фактически была уже устранена, цензоры осваивали новые профессии...

На состоявшемся в это время Съезде писателей СССР (оказавшемся **последним**) Б. Можаев вдохновенно и радостно поведал коллегам о своей творческой победе — публикации второй книги романа "Мужики и бабы", заклеив при этом как труса редактора "НС" Викулова. Не удовлетворившись высокой трибуной, он повторил это еще и в двух газетах, относившихся к журналу всегда враждебно...

Вот, как говорится, и вся любовь...

\* \* \*

Хорошая, честная, правдивая, мужественная книга "Мужики и бабы", но и она не дает полного представления о той великой трагедии народа, которая вошла в историю под названием "Ликвидация кулачества как класса". Подумать только: ликвидация класса! Целого класса! Не бандитской шайки, не воровской "малины" — класса!

Б. Можаев в своем романе показал, по сути дела, лишь самое начало этой трагедии, когда "ликвидация" выражалась пока только в поголовном изъятии "класса" из родной для него крестьянской среды и переселении его на Север, в необжитые места... Что

было с "классом" по пути туда, с чего он там начинал, что ел, пил, как спасал от голода и холода детей — об этом ни книг, ни фильмов нет.

В главе, посвященной публикации в "НС" романа Михаила Алексеева "Драчуны", я привел много писем читателей, переживших описанный писателем голод 1933 года. Но одно письмо поберег, специально для вот этого, завершающего разговора.

Бывшая дочь кулака Клокова Т. Б. (Ленинград, Набережная Кутузова, 30) в этом письме рассказала писателю о том, что было с "классом" после высылки на Север, куда он эшелонами, в вагонах для скота, был доставлен в начале 1930 года. С разрешения Михаила Николаевича привожу письмо полностью:

"Мои родители попали в число кулаков и в марте 1930 года были высланы в Архангельскую область. В шести километрах от Котласа был наскоро построен концлагерь "Макариха". В апреле 1930 года в нем находились десятки тысяч детей с матерями. Все взрослые работали на лесоповале. В "Макарихе" вместе с матерью была и я — восьмилетняя — и младшая сестра. Бараки были наскоро сколочены из жердей, в каждом 500 человек... Не было никакого снабжения, никакой медицины. Путь до "Макарихи" был длинный, все обзавелись вшами. Детей повалил тиф и другие инфекционные болезни. В течение апреля 1930 года почти весь лагерь вымер. К появлению первых листиков на березах лагерь опустел... В течение 50 лет мне не пришлось встретить ни одного человека из "Макарихи". Может быть, в живых я единственная... Родители из "Макарихи" решились убежать. Их поймали и отправили в Казахстан. Там они, видимо, и погибли..."

Все, что произошло с "классом" в лагере "Макариха" и ему подобных, на официальном языке, оказывается, называлось "трудовым перевоспитанием". В книге "От капитализма к социализму" (1917—1937 гг.), том II, Москва, 1981 год, так прямо и сказано: "...подавляющее большинство экспроприированных кулаков подверглось трудовому перевоспитанию" (видимо, как в "Макарихе").

Приведу еще одно свидетельство очевидца о крестном пути "класса" на Голгофу. В Архангельске в 1964 году вышла книга повестей и рассказов известного вологодского писателя Константина Ивановича Коничева под названием "Из жизни взятое". Открывает книгу документальная повесть "В году 30-м". К. Коничев — тогда молодой вологодский парень — был призван в войска ГПУ и волею судьбы оказался в числе тех милиционеров, которые принимали в Вологде прибывавшие с юга эшелоны со "спецпереселенцами", сбивали их в колонны по 700 человек и гнали в намеченные пункты, в необжитые места, за 200—300 километров от Вологды.

Чтобы не пересказывать содержание книги, процитирую всего лишь два-три абзаца из самого ее начала, и все станет ясно.

"Эшелон за эшелонам двигались на север поезда с Кубани, Северного Кавказа, Украины, Белоруссии. И в этом движении поездов было что-то *необычайное, неслыханное, невиданное и неожиданное*. (Здесь и далее выделено мной. — С. В.)

Вереницы товарных вагонов, переполненных *семьями* выселенных с юга на север украинских "куркулей", кубанских "кулаков", киргизских "басмачей" и "баев", *изо дня в день (!) тянулись к Вологде и Архангельску, в суровые места...*

На севере свирепствовали крепкие морозы и лежали глубокие снега... А эшелоны с тысячами "спецпереселенцев" прибывали и прибывали *и, казалось, конца им не будет...*

...В последних числах февраля начальник оперсектора Касперт, изнуренный бессонницей и столь ответственным канительным делом *по расселению* (всего лишь! — С. В.) "кулаков", безвыходно сидел в своем кабинете..."

Ну, и так далее...

О многом поведал К. Коничев из того, что происходило в Вологде в 1930 году. Но далеко не все. И не потому, что забывал или боялся, а потому что не было позволено...

Мы дружили с Константином Ивановичем. Бывало, выйдем прогуляться по деревянным мосточкам Вологды или по набережной, где высились, отражаясь в реке, многочисленные церкви и соборы, и он ударится в воспоминания. "А вот в этой церкви нары были возведены аж под самый купол, в четыре этажа. И людишек на них, как муравьишек, втужу... Холодно, голодно, смрадно... Умирали люди, как мухи. Особенно дети и старики... А в Прилуцком монастыре и того пуще. Умерших не успевали закапывать. Колонны из бедолаг для следования к месту назначения сколачивались там. В том числе и та, которую довелось гнать мне, в Тотемские леса, за двести с лишним километров от Вологды... Не переселить людей хотели вожди, а у м о р и т ь... Теперь я это хорошо понимаю..."

Шестьдесят шесть лет минуло после "великого перелома", а точнее — великой крестьянской трагедии на Руси. Колхозы, ради утверждения которых новая, советская, власть в 1930 году осуществила неслыханное насилие над мужиком, сегодня, в большинстве своем — и опять-таки насильственно! — распущены (а чаще — разогнаны), как не оправдавшие себя ни с экономической, ни с психологической точки зрения.

Жертвы коллективизации, а потом муки становления, таким образом, оказались напрасными.

Горько, до слез горько осознавать это, особенно тем, кто самым краешком жизни, ее трудным началом прикоснулся к трагедии 1929—1930 годов и помнит о ней цепкой детской памятью.

Почти три четверти века прошло с тех пор. Вымерли, как мамонты, вожди-интернационалисты, осуществившие беспрецедентное в мировой истории дело "ликвидации класса". Умерла и власть, которую они утверждали мечом и огнем в нелюбимой ими России, умерла, будучи предана и растоптана детьми их и внуками...

Пришло время постоять в раздумье на неостывшем еще пепелище той власти, окинуть мысленным взором семьдесят лет ее бурной и неровной жизни и попытаться честно и беспристрастно ответить самим себе: так что же это такое было — 1930 год? Что он означал, этот лозунг: "Ликвидировать кулачество как класс"? Допустим, что зажиточные мужики, то есть кулаки, действительно не вписывались в идею коллективизации деревни, своим существованием, своим присутствием в деревне ставили под вопрос претворение ее в жизнь. Допустим, хотя я лично, как выходец из деревни, немного знающий психологию и бедняка, и кулака, с этим не согласен... Но ладно: не вписывались... Ну так и что же? Обязательно надо было выдвигать лозунг: "ликвидировать"? И реализовать его не политическими и даже не экономическими средствами, а физическими, как реализуется смертный приговор?

Неужели у авторов беспощадного лозунга не было никаких других способов нейтрализовать кулаков, кроме вот этого, неслыханного по жестокости и бесчеловечности, — выталкивания в шею из собственных жилищ, без одежды, без куска хлеба, без орудий труда на Север, в леса, в болота — умирать. Всех — и взрослых, и стариков, и детей... Приходит мысль: под видом "ликвидации кулачества" ликвидировалась лучшая часть крестьянства России — его элита, а значит, становой хребет русского народа: не забудем, что Россия на тот день была крестьянской страной...

Не могу поверить, что этот, оккупантский по стержневой сути, лозунг мог родиться в головах русских по крови вождей... Впрочем, что я... Русских-то вождей после 1917 года, как свидетельствуют документы, приведенные в упомянутой выше книге А. Дикого, в России и не было (продавшиеся гои типа Бухарина не в счет)...

## XX

В № 5 за 1986 год журнал напечатал новые рассказы В. Астафьева. Последним в подборке стоял рассказ "Ловля пескарей в Грузии". В нем писатель, почти документально, в жанре "записок путешественника" рассказал о своем первом в жизни гостевании в Грузии, для него непреднамеренном, но как раз этим-то и интересном... Не гостить, не отдыхать, не любоваться горными вершинами Кавказа приехал он в тот раз в Грузию, а поработать, как мы, писатели, называем свои бдения за письменным столом; поработать в одном из литфондовских Домов творчества, находившемся на берегу Черного моря, в Абхазии.

Его "сотоварищ по Высшим литературным курсам" писатель Отар из Сванетии (настоящее имя его другое, я это знаю, поскольку сам был "сотоварищем" тому и другому на этих курсах) каким-то образом узнал, что Астафьев с женой находится в Доме творчества, и, не предупредив, нагрянул к нему — повидаться, а главное, показать русскому гостю, если он захочет, Грузию, блеснуть прославленным грузинским гостеприимством.

— Ты зачѐм здѐсь живѐшь? Зачѐм? — обрушился Отар на "сотоварища" из России, едва тот предстал перед ним. — Тѐбе мало моего дома? Мало тѐсят комнат? Я построю тебе одынаацат. Я помѐщу тебя луччий санаторий Цхалтубо!.. — Ну и в том же духе еще куча громких слов. А в конце: — Я приехал за тобой. Хочу, чтоб ты увидел Грузия нѐ в кино, грузын нѐ на базаре..."

"Через пару часов", как сообщает автор, они, то есть хозяин и гость, уже катили на машине в сторону Сухуми и дальше. И все, что виделось через стекло машины, а потом в гостеприимных домах Отара и некоего "дяди Васи", все, что поразило гостя при посещении "святого и древнего места" Грузии — монастыря Гелати, — все это и стало предметом живописного повествования, веселых и грустных раздумий писателя.

Отар то и дело напоминал гостю: "Смотри на этот Грузия, на этот грузын. Народ по рукам надо знать, которые держат мотыгу, а не по тѐм, что хватают рубли на рынку". Русский гость, конечно, знал и до встречи с Грузией тех, "что хватают рубли на рынку", — и теперь, глядя на грузин-тружеников, не мог не вспомнить — по контрасту — о них и по-астафьевски смачно, без ужимок и обязательной для гостя лести, не высказаться (из деликатности не вслух, а про себя) об известном ему "надоевшем типе", "которого и грузином-то не поворачивается язык назвать. Как обломанный, занозистый сучок на дереве человеческом, торчит он по всем российским базарам, вплоть до Мурманска

и Норильска, с пренебрежением обдирая доверчивый северный народ подгнившими фруктами или мятыми, полумертвыми цветами...

В другом месте, уже не столько с осуждением, сколько с огорчением автор добавляет: "Дело дошло до того, что любого торгаша нерусского, тем паче кавказского вида по России презрительно кланут и кличут "грузином"..."

Так подумал о тех, кто "хватает рубли на рынку" русский писатель, гостя в Грузии, по крайней мере так изложил он свою думу на бумаге. И этого оказалось вполне достаточно бдительным интернационалистам, чтобы без промедления спустить собак на журнал, пролаять с высокой трибуны съезда писателей СССР: журнал "Наш современник" разжигает межнациональную вражду. Именно журнал, а не автор.

И что любопытно: о злостном астафьевском рассказе в Тбилиси узнали раньше, чем пришел туда журнал. "Крепившие дружбу народов" раздобыли каким-то образом гранки рассказа и доставили их (нарочным!) в СП Грузии, издав при вручении душераздирающий вопль: "Это вам подарок от "Нашего современника" к съезду писателей!" Гордые грузины, разумеется, схватились за кинжалы и в таком вот воинственном расположении духа прибыли на съезд.

Едва президиум съезда занял свое место, от грузинской делегации поступило заявление: злопыхательской публикацией журнал "Наш современник" оскорбил и унизил народ Грузии. В знак протеста делегация грузинских писателей покидает съезд... Едва отзвучала последняя фраза заявления — грузины дружно встали и вышли из зала.

Скандал! И громкий... Да еще с таким аффектом разыгранный... Я как член правления СП СССР сидел в президиуме и хорошо видел описываемое действие. Что же делать? Выступить с извинением? Но я не чувствовал своей вины...

Такое ли, бывает, пишут путешественники о стране и о народе, поразившем их неизвестными до сих пор обычаями и нравами... А кроме всего прочего — страна-то, о которой идет речь в рассказе, для автора совсем не зарубежье, она всего лишь одна из пятнадцати республик общего нашего дома — СССР, и нигде не записано, что писатели республик должны говорить друг другу одни лишь "приятности"... Ну, а если все же должны, то как быть с такими категориями литературы, как "художественная правда", "национальный характер", "национальное своеобразие"?

О русском народе в братских литературах в сто раз больше понагорожено нелицеприятного, а уж о сочинениях русскоязычных писателей, особенно москвичей, и говорить нечего... Да и сам Астафьев не милует свой народ, достаточно прочитав его "Печальный детектив", чтобы убедиться в этом...

...Объявили перерыв. Члены Политбюро, присутствовавшие на открытии съезда, удалились в комнату отдыха. Через несколько минут туда был приглашен Г. Н. Троепольский — член нашей редколлегии. Еще до перерыва Гавриил Николаевич подходил ко мне, спрашивал, буду ли я выступать по поводу случившегося. Я ответил, что пока не намерен... "Ну, тогда придется мне... Не возражаешь?" Я сказал: "Не возражаю..." Вождем, сидевшим в президиуме, стало известно о намерении Троепольского...

Не знаю, кто из них и о чем разговаривал с Гавриилом Николаевичем в комнате президиума. Помню хорошо только то, что сразу же после перерыва председатель предоставил ему слово. Смысл его короткой, но излишне драматизированной (в том числе интонацией) речи был чрезмерно извинительным. И от себя, и от имени редколлегии (так уж у него получилось) он, по сути, принес извинение писателям Грузии за "ошибочную" публикацию рассказа В. Астафьева в журнале...

Однако на этом дело не закончилось. На следующий день грузины представили в редакцию журнала еще и письмо за подписями самых авторитетных в республике и в стране писателей Ираклия Абашидзе, Чабуа Амиразджиби, Отара Чиладзе и потребовали опубликовать его. Мы не стали возражать...

Приведу некоторые места из этого письма, представляющего определенный интерес в свете событий, произошедших вскоре в стране. Авторы писали:

"Дружба русского и грузинского народов, берущая начало в глуби веков... превратилась в братство навеки породненных народов... Тем более было странно, и прямо скажем, обидно читать в журнале "Наш современник" рассказ "Ловля пескарей в Грузии"...

Было бы неправильно утверждать, что В. Астафьев ничего хорошего не увидел в Грузии. Когда он пишет о Гелатском храме, памятнике XII века, сразу же исчезает снисходительный тон, цинический поток начисто уступает место подлинной, окрашенной светлой грустью лирике...

В Грузинской республике, в ее социально-экономической жизни немало неурегулированных проблем, в быту не изжиты многие вредные традиции и привычки. Однако..." Ну и т. д.

На домашний адрес я получил анонимное письмо, с точки зрения дипломатии не столь выдержанное, как процитированное выше, в нем преобладал русский мат с ярко

выраженным грузинским акцентом. Досталось от автора письма и мне, как редактору, и В. Астафьеву, как "неблагодарному" гостю... Неприятно, конечно. Но пережить было можно...

А ведь те, кто столь оперативно организовали протест грузинских писателей, рассчитывали, конечно, на большее. За покушение на "дружбу народов", думали они, главный редактор ненавистного им журнала будет изгнан... Наверное, так бы оно и случилось (повод-то какой!), если бы на дворе не резвился уже вовсю ветер "перестройки"; "гласность", "новое мышление" и кое-что еще в этом же духе снизили созданное вокруг журнала напряжение.

И тогда кем-то из тех же радетелей дружбы народов был придуман другой ход. Озвучил его Г. Бакланов. На каком-то собрании он с возмущением высказался о главных редакторах журналов, десятилетиями занимающих эти должности: "Этакие Ильи Муромцы незаменимые!.." Надо, предложил Бакланов, внести в Устав Союза писателей статью, ограничивающую редакторство десятью годами. У меня к тому времени — и Г. Бакланов это знал — набиралось уже лет 18, на год только меньше, чем у М. Н. Алексеева, главного редактора "Москвы". Конечно, много. Я это понимал и сам. А главное, чувствовал это и душой и телом: наваливалась усталость и горечь оттого, что потеряны лучшие годы и так много из задуманного не сделано. Бакланов думал, наверное, что я цепляюсь за кресло главного, а я уже дважды к тому времени подавал заявление об отставке. Однако Ю. В. Бондарев, курировавший журналы в Российском Союзе писателей, упорно противился моему намерению: "Ну кому, кому ты передашь журнал? Потерпи хотя бы еще годик. Подберешь подходящего человека — тогда и уйдешь".

Подберешь... Если бы это было так просто. Главный редактор — номенклатура ЦК. И кого бы я ни подобрал, последнее слово все равно будет за ним, и рекомендованный мною человек наверняка будет отвергнут, хотя бы потому, что рекомендован именно мной. Я тогда не мог даже и подумать, что партию скоро начнет лихорадить, что Центральному Комитету скоро будет, как говорится, не до того и смена главного редактора в "НС" станет, по сути, нашим, писательским делом. Но вышло, слава Богу, именно так...

*(Окончание следует)*

СЕРГЕЙ ВИКУЛОВ

## ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ...

### XXI

В нем не было ничего, что говорило бы о человеке гордом, волевым, самолюбивом: ниже среднего рост, круглое бабье лицо, курносый нос, тонкие губы, негромкий, без басовой струны голос, тараторный, лишенный ораторских интонаций говор.

Во время войны он, как почти все белорусы, партизанил, был одним из руководящих работников ЦК комсомола Белорусской ССР. Как и когда он оказался в Москве, кем и за какие заслуги выдвинут на должность главного редактора "Правды", а потом секретаря ЦК КПСС по идеологии — ничего этого я не знал.

Речь о Михаиле Васильевиче Зимянитине — для меня высшем должностном лице, под которым ходил я, как говорится, без малого полтора десятка лет. Как и все другие главные редакторы журналов, я был, по существу, его "кадром". Всемогущую контору — ЦК КПСС — для меня олицетворял прежде всего он. Моя судьба целиком зависела от него, а не от С. Михалкова или Г. Маркова — руководителей писательских Союзов.

Главный редактор журнала по статусу был включен в номенклатуру ЦК, и потому при назначении и писателя на эту должность — "да" или "нет" Секретариата ЦК были решающими, а при освобождении — тем более. Правда, не без согласования с Союзом писателей, но оно, по моим наблюдениям, носило формальный, уведомительный характер.

Запомнилось первое появление Михаила Васильевича в сане секретаря ЦК перед нами — главными редакторами газет и журналов, руководителями радио и ТВ, приглашенными на очередное (ежемесячное) совещание в ЦК. Его приподнятое настроение и естественное для такой минуты волнение невольно передалось и нам, и мы дружно и искренне, как мне показалось, ударили в ладоши, подбадривая его, когда он, встав из-за стола, пошел к трибуне, чтобы начать первую свою установочную речь... Разбирало любопытство, как будет чувствовать себя вчерашний газетчик в новой роли, какие слова, еще не звучавшие здесь, скажет, какой поворот в идеологической работе обозначит. Но, увы, ни новых слов, ни оригинальных мыслей мы не услышали...

Незадолго перед этим состоялся то ли пленум ЦК КПСС, то ли какое-то другое важное событие, на котором с докладом выступил Л. И. Брежнев. Задача секретаря-идеолога, как я понимал, состояла в том, чтобы развить идеи, высказанные "генсеком", нацелить нас, руководителей СМИ, на разъяснение этих идей народу, на реализацию их в практической работе. Не мудрствуя лукаво, новый секретарь задачу эту решал так: "Леонид Ильич сказал..." И далее, почти слово в слово, по тексту доклада. А когда кавычки закрывались, следовало добавление: "В соответствии с указанием товарища Леонида Ильича Брежнева..." и т. д.

Пластинка эта была, как известно, долгоиграющей, но замолкла, наконец, и она. А новая в исполнении Михаила Васильевича отличалась лишь "запевом": "Юрий Владимирович особо подчеркнул..." А еще через небольшой промежуток времени: "Константин Устинович Черненко обратил внимание на..." Эти пластинки — обе — звучали недолго. Их сменила четвертая, начинавшаяся не менее свежо и бодро: "Как верно и глубоко отметил Михаил Сергеевич..."

Поначалу на каждое такое совещание я шел, вооружившись ручкой и блокнотом, полагая, что услышу там и ЦУ (ценные указания), и анализ положительного опыта, и критику редакторских промахов, а главное — оценку и прогноз политической ситуации,

Окончание. Начало см. в № 9—11 за 1996 год.

идеологического климата в стране... Войдя в зал, я занимал место в первом-втором ряду, чтобы получше слышать, доставал перо и блокнот... Михаил Васильевич появлялся в дверях точно в назначенное время — в этом был особый цеховский шик! — появлялся в сопровождении В. Шауро, В. Севрука (заместителя заведующего отделом пропаганды), а иногда еще и кого-нибудь из руководителей министерств и ведомств...

— Слово предоставляется товарищу Зимянину. — Тут же щупленький, невысокий человек подходил к трибуне, раскладывал на ней нужные бумаги и начинал... Не было в его говорении ни душевного волнения, ни боли, ни тревоги. Этакая ровная, скучная, прошу простить за сравнение, церковная монотонность. Слушаю, хочу записать, а записывать нечего — все уже было в газетах, звучало по радио... Добавить что-нибудь от себя — хотя бы страсти — наставник наш даже не пытался. Почему?

Да потому, как я понимаю теперь, что не было у Михаила Васильевича, как и у партии в целом, внешнего раздражителя, — некому было возразить, не с кем поспорить, некому пригрозить. Сплошная ровная наезженная колея — ни влево, ни вправо! Волей-неволей приходилось крутить вдрызг заезженную пластинку: "Леонид Ильич указал..."

Удивляло еще и то, что конкретные замечания по материалам газет и журналов делались весьма редко. Наверное, думал я, "кураторы"-инструкторы не успевают читать свежую прессу и докладывавать секретарю свои выводы. Но вскоре выяснилось, что я ошибался. Читалось все. И очень внимательно! А дело было так...

Зимянин пригласил меня для разговора, так сказать, с глазу на глаз. Как всегда, я отнесся к приглашению настороженно, хотя и полагал, что сколько-нибудь значительного повода для разноса на сей раз у секретаря нет. События, связанные с публикацией романа В. Пикуля, стали уже историей, улеглись страсти и вокруг повести В. Крупина. Так мне казалось...

Но теперь-то я понимаю, что так казалось только мне. В аппарате, возглавляемом Зимяниным, "дело" Викулова не было закрыто. Секретари правления Союза писателей России, обсуждавшие 7 декабря 1981 года "очернительскую" повесть В. Крупина "Сороковой день", н у ж н о г о цеховцам решения принять не смогли. И надо было искать, как любили выражаться партфункционеры в таких случаях, другие подходы...

...Михаил Васильевич встретил меня подчеркнуто неофициально, можно сказать, по-приятельски. Вышел из-за стола, добродушно улыбаясь, поздоровался, потом снял пиджак, повесил его на спинку стула, приглашая таким образом и меня чувствовать себя как дома. Тут же появился человек, поставил на край длинного стола два стакана крепкого чая, блюдечко с традиционными цеховскими сушками и, не сказав ни слова, удалился.

Хозяин кабинета, слышу, что-то говорит, пытается даже шутить, а я все не могу настроиться на его волну — все настороже, все жду чего-то... главного. Спросил меня, где я воевал, сообщил, что ему тоже досталось в белорусских лесах и болотах, потом поинтересовался, что у нас будет в очередных номерах...

Припоминая, я начал перечислять произведения и их авторов... И вдруг Зимянин, вкрадчиво этак, перебил:

— Сергей Васильевич, а почему вы не печатаете евреев?

— Как... — смешался я, — не печатаем?... Я бы не сказал с такой определенностью, Михаил Васильевич... Мы ведь заполнения анкеты и пункта пятого в ней не требуем... Вот наши, первыми пришедшие на память авторы: Абрамов Федор, Алексин, Андрей Деметьев, Нагибин, Евгений Носов, Ваншенкин, Иван Васильев, Василий Белов, Друнина, Юрий Казаков, Евтушенко... Кто из них еврей, а кто нет, — я не смогу сказать определенно. Назову, если хотите, и еще несколько наших авторов: Георгий Семенов, Черниченко, Романов, Олег Дмитриев, Марк Максимов, Островой, Татьяна Иванова...

Михаил Васильевич перебил:

— А что, разве она еврейка?

— Вот видите, Михаил Васильевич, и вы не знаете... Я тоже не знаю... Знаю, пожалуй, только то, что не все писатели-евреи идут в "Наш современник". Из принципа, полагаю... И что же мне — тянуть их за рукав?... Есть, конечно, и такие, кто хотел бы у нас напечататься, да мы им отказываем. Точно так же, как отказываем и русским, и якутам, и чувашам. Но если мне в руки попадает что-то действительно талантливое, отвечающее направлению нашего журнала — пусть будет автором хоть сам черт, — я эту вещь напечатаю! Предлагать же подписчикам какое-нибудь бесцветное по языку, убогое по мысли произведение только потому, что автор его известный, заслуженный человек или еврей, — извините, не могу...

Сказал это и тут же спохватился: соврал!.. Напечатал однажды т а к о е произведение, попутал бес... А если честно, совсем не бес, а Юрий Васильевич Бондарев — куратор нашего журнала в Союзе писателей, к тому же еще и член нашей редколлегии. Позвонил он мне однажды и сказал: "Сережа, как ты относишься к Толе Алексину? Нет, не как к человеку, а как к писателю?" Я не сразу нашелся и, подумав, сказал: "Как к туманности Андромеды — есть она, ну и пусть..." — "Надо бы, старик, напечатать его."

Ради политики, так сказать..." — "А что у него?" — "Да повестушка. Чтобы ты не испугался, сразу скажу — небольшая. Понимаешь, я обещал ему..." — "Понимаю, Юрий Васильевич", — сделав акцент на "понимаю", ответил я.

Толечка (так иногда мы звали его в своем кругу) не заставил себя долго ждать. На следующий день ворвался в мой кабинет, как всегда этаким милый, ласковый, улыбчивый, энергичный, и буквально с лету влепил мне в щеку поцелуйчик. Он мог, здороваясь, не пожать руки, но не чмокнуть в щеку не мог — это было его натурой... Умел, чертяка, "подъехать" и к другу, и к врагу, а уж к начальнику нужному — само собой. Талант у него был на это несомненный. И он помог ему (в немалой степени, думаю) и лауреатскими медалями обвеситься (казалось, вот-вот догонит в этом занятии самого Михалкова, благодетеля и друга — он звал его Сережа); и удостоиться международных премий, и стать членом-корреспондентом (если даже не членом) Академии педагогических наук, и секретарем Правления Союза писателей РСФСР, и любимчиком на телевидении... А если коротко — помог ему стать выдающимся детским писателем!

Именно талант "душечки" помог ему прорваться и в "НС". Под его натиском треснул даже такой крепкий орешек, как Бондарев, раскололся и я, грешный... Повесть называлась "Здоровые и больные". Захватывающее название, ничего не скажешь! Впрочем, и сама повесть была не менее "захватывающей". Да и не могло быть иначе: в ней жили, что-то говорили, что-то ели-пили, с одной стороны, совершенно здоровые, с другой — очень и не очень больные... Что-либо подправлять в рукописи или сокращать — не было смысла. Отправил в набор в первозданном виде: был уверен — бранить не будет (кто автор-то?), а уж хвалить — тем более... И ошибся.

Уже через неделю после выхода журнала Толечка позвонил мне и, радостный, обрадовал меня: "Сереженька, молодец, что напечатал мою повесть! Читатели заметили! В "Медицинской газете", в сегодняшнем номере, замечательная рецензия!" — "Поздравляю, Толя..." — "Но ведь это плюс и журналу!" — "Да, наверно..." — "Что я мог еще сказать? Добавил только: 'Извини, Толя, спешу' — и положил трубку. Тут же подумал: 'А ведь Толечка после такого успеха принесет мне и следующую повесть...' Уже минует Бондарева..."

Тут я вспомнил, как атаковал меня своими стихами Виктор Урин — скандально известный в начале 70-х годов московский стихотворец. Стихи его напоминали конструкцию из консервных банок: стуку-бряку много, смысла никакого... Два раза возвращал ему на доработку. Но уже на другой день поэт приходил в редакцию и громко докладывал: "Сделал! Все!"

И я сдался: "Ладно, оставьте". Плотнее увязал его "банки", отправил в набор. Для политики... Так как автор мне на эту "политику" намекал. И когда журнал вышел, Урин прибежал в редакцию, купил несколько экземпляров и, сияющий, ворвался ко мне: "Благодарю!.. Теперь я могу вам сказать, что уезжаю... В Израиль!.. После вашей публикации не осталось в Москве ни одного журнала, в котором бы я не печатался! Как вы думаете, это что-нибудь да будет значить там?!" И сам ответил: "Будет!" И удалился с гордо вскинутой головой.

Не удивлюсь, если услышу, что Толя Алексин пробивался в "НС" тоже из спортивного интереса. Чтобы кто-то где-то не сказал: "А вот в "Нашем современнике" тебя не печатали!" Для этой цели ему вполне достаточно было одной публикации. И потому, наверное, с новой рукописью он ко мне не пришел... А может быть, еще и потому, что безмерно ласкавшая и славословившая его советская власть была свергнута, а начавшиеся вслед за этим событиями "реформы" ему не понравились. Тиражи изданий и гонорары упали почти до нуля. И ему нечего было больше делать в этой стране. Эмигрировал. В Израиль.

\* \* \*

...Но чем же закончился разговор с Зимяниным?

Не удовлетворившись моими объяснениями (это было видно по его лицу), он сказал, пожимая мне руку:

— Надеюсь, Сергей Васильевич, вы сделаете правильные выводы. Сегодня, как вы убедились, я разговаривал с вами по-товарищески, но если будет повод вернуться к этому разговору, он будет иным. И тогда уж извините...

... "Ничего себе разговорчик!" — дивился я по дороге домой. Чем он вызван, интересно? А главное — что все это означает? Предупреждение? Конечно. Угрозу? Несомненно. А может быть, еще и начало новой облавы на "серого волка"?.. Пройдет какое-то время, и мне скажут: "Вас предупреждали? Предупреждали. Выводы вы сделали? Не сделали." И вдобавок к тому, что я "их" не печатаю, накопят и еще кое-что на эту же тему.

Ну, скажем, пожелают взглянуть на сотрудников редакции со стороны национальной



принадлежности и увидят, что евреев среди них тоже нет. Случай исключительный! А на фоне других редакций журналов, особенно "Нового мира", "Юности", "Октября", "Знамени", "Вопросов литературы", не говоря уж о "Литературной газете", — просто вызывающий! "Ничего себе интернационализм! — будут кривить губы, возмущаясь. — Чистой воды шовинизм, а не интернационализм!" Так наверняка и скажут мне в каком-нибудь высоком кабинете. И тогда попробуй докажи, что ты не верблюд...

Размышляя так, я был не далек от истины... Вообразив такую ситуацию, я, естественно, искал контраргументы, и находил их, и очень жалел, что не привел их там, в гостеприимном кабинете секретаря ЦК. Продолжая мысленно беседу с ним, я говорил: Михаил Васильевич, не я — вы начали разговор о писателях-евреях в нашей литературе, причем с неожиданной и, прямо скажу, непривычной для меня откровенностью. Поэтому буду откровенен и я. И тоже начну с вопроса: почему "Литературная газета", издающаяся в русской столице, в Москве, редактируется евреем? Почему в ее редакции процентов девяносто сотрудников люди не русской национальности? Можно подумать, имея в виду этот факт, что ведущая литература в России (да и в Союзе) — еврейская, а не русская.

Напомню, наш Государственный Гимн начинается с высоких и справедливых слов о том, что "Великая Русь" сплотила в "союз нерушимый" свободные национальные республики... Ну а кто сплотил национальные литературы, кто поставил на ноги многие из них? Великая русская литература! И, значит, литературную газету, печатающуюся на русском языке, в русской столице, по справедливости должны бы делать прежде всего русские журналисты и писатели. Но...

Вы можете представить себе, Михаил Васильевич, что в Тель-Авиве, например, или в Париже писательскую газету редактирует русский писатель, а в штате редакции 80—90 процентов русских? Не можете. Я тоже не могу.

Вы скажете, что для Российского Союза писателей вами учрежден еженедельник "Литературная Россия". Да, учрежден... В качестве "слепого отростка" в литературном организме России, никому не нужного... В униженное положение еженедельник этот поставлен уже тем, что печатается малым форматом, каким печатаются только районные газеты да заводские многотиражки. Все республиканские литературные газеты имеют большой формат, — все, кроме российской. Случайно это? Не скажите! Вполне осознанно. Ни сама редакция "Литгазеты", ни вы, ее покровители (имею в виду руководство партии), не хотели и не хотите, чтобы у нее был серьезный конкурент и оппонент. "Литературная Россия" — и в этом вы твердо уверены — не может стать таковым, будь ее редактор хоть семи пядей во лбу.

Кто из серьезных писателей понесет свою статью в "Литературную Россию", тираж которой ниже тиража среднепопулярной районки, а гонорар в два-три раза меньше гонорара "Литгазеты"? Да если бы даже вровень было и то и другое, — все равно: кто станет выписывать и читать еще одну писательскую газету на русском языке? Разве что библиотеки...

Ну что же, скажете вы, значит, выписывают и читают "Литгазету". Да, читают... Но, как говорят в Одессе, это две большие разницы. И чтобы они стали вам понятны, приведу высказывание на этот счет А. П. Чехова — одного из великих русских классиков, умевшего в литературе отличать белое от черного:

"Такие писатели, как Н. С. Лесков и С. В. Максимов, не могут иметь у нашей критики успеха, т. к. наши критики почти все — евреи, не знающие, чуждые русской коренной жизни, ее духа, ее форм, ее юмора, совершенно непонятного для них, и видящие в русском человеке ни больше ни меньше как скучного инородца. У петербургской публики, в большинстве руководимой этими критиками, никогда не имел успеха Островский, и Гоголь уже не смешил ее".

Это из 30-томного собрания сочинений Антона Павловича, изданного в Москве в 1980 году в издательстве "Наука" — том 17, страница 224. В других изданиях это высказывание А. П. Чехова трудно обнаружить. Не сомневаюсь, если бы я привел его в статье для "Литгазеты", оно тоже было бы вычеркнуто.

Что привлекает меня в этом весьма тонком и принципиально важном наблюдении классика? А вот это: "у публики, в большинстве руководимой этими критиками".

Руководимой! Критиками!

О чем свидетельствуют эти слова? О том, что Антон Павлович придавал огромное значение литературной критике: она руководит публикой! Склоняет читателя думать так, а не иначе. А поскольку руководит и склоняет, то совсем не безразлично, кто пишет о писателе, оценивает его творчество — русский человек, которому близка и понятна стихия русской народной жизни, встающая из произведений писателя, или еврей, казах, армянин, "чуждый русской коренной жизни, ее духу, ее формам..."

Не этим ли объясняется тот факт, что за два десятка лет "Литгазета" не обмолвилась ни одним добрым словом о журнале "НС", в котором с таким блеском разворачивалась, радуя русских читателей, так называемая "деревенская проза"? Ей была чужда эта проза.

...Вечером, присев к письменному столу, я взялся было за газеты, но, как ни старался, сосредоточиться на чтении не мог. Мыслью снова и снова возвращался в зимнянинский кабинет.

"А что, — подумалось вдруг, — если милая наша беседа означала все-таки только одно: заботу секретаря ЦК о писателях, которых не печатает журнал "НС"? Если она означала только это, то неизбежно вставал вопрос: неужели у т. Зимянина — штатного идеолога партии — нет более важной заботы?.. В такое-то время, когда жизнь ставит перед партией тысячи острейших "почему", требующих немедленных ответов! Причем не лицемерных, ласкающих слух, а правдивых, честных, мужественных!

Мог бы он, например, в поисках этих ответов (а потом и решений) спросить меня о состоянии культуры (в том числе бытовой) в вологодской деревне, которую я знал лучше, чем он; мог бы спросить, что я думаю о сельских коммунистах. Кто они — действительно *авангард*, способный в нужный момент повести людей за собой, или *всего лишь члены партии*, полезные ей только тем, что вносят в ее кассу рублики (иногда и немалые)? Конечно, мог бы... Если бы душой болел за народ, жил реальными представлениями о нем, а не догмами, не чахлыми установками о "зрелом", "развитом", "гуманном" и т. п. социализме и непоколебимом интернационализме.

Мог бы спросить — и я бы ему ответил: да, немало среди сельских коммунистов именно ч и с л я щ и х с я в партии, и в этом слабость партии, ее беда. У них нет коммунистических убеждений, — ни Ленина, ни Маркса они не только ни при какой погоде не читали, но и не раскрывали даже: образование-то — 4—5 классов. И что особенно важно: представления их о п р е и м у щ е с т в а х социализма весьма туманные, они их не ощущают, а если и ощущают, то принимают за должное, как не ахти какую щедрую плату (имею в виду бесплатное образование и медицинскую помощь) за кровь и пот, лишения и страдания, коих выпало на их долю с избытком... Да и моральный облик их мало чем отличается от облика основной, беспартийной массы — пьют, как все, ну а раз пьют, то и работают соответственно. В партию их принимали в большинстве случаев по райкомовской (и, значит, вашей, Михаил Васильевич) разрядке, в расчете на то, что членство в ней хотя бы отчасти дисциплинирует их в отношении к труду, да и в быту — тоже".

Удивило меня и то, что секретарь-идеолог не дал никакой оценки опубликованным в "НС" многочисленным материалам в защиту нашей национальной культуры, против ее американизации; не заметил, что "НС", как никакой другой печатный орган, резко и настойчиво выступает против спаивания народа, в поддержку трезвеннического движения; ни словом не обмолвился о статьях, вскрывших серьезные изъяны в системе трудового воспитания школьников (да и нравственного — тоже); не похвалил журнал за открытие целого ряда талантов из глубины России; не поздравил с присуждением авторам журнала — Г. Троепольскому, Ю. Бондареву, В. Белову, В. Распутину, В. Шукшину, Е. Носову, В. Астафьеву, В. Чивилихину, В. Солоухину, Г. Семенову, Н. Шундику, О. Фокиной, Н. Старшинову — Государственных премий СССР и РСФСР, а выдающемуся публицисту "деревенщику" Ивану Афанасьевичу Васильеву даже Ленинской премии... Ведь их творчество работало на ту самую идеологию, за которую он отвечал перед партией!

## XXII

Сейчас компартия возрождается. Медленно и робко, но возрождается. За счет здорового ядра бывшей КПСС и самого народа. Были и есть в партии и в народе люди с чистой совестью, люди долга и чести, патриоты, любящие Россию, тревожащиеся за ее судьбу, готовые постоять за нее. Их много. И только малая часть из них сегодня в партии. Остальные ждут, присматриваются: под каким знаменем, под каким лозунгом (девизом) возрождающаяся партия будет строиться в ряды. Опять под этим: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь"?! Ну, нет... Их этот лозунг не вдохновит. "Спасибо, наелись! — скажут. — На своей шкуре испытали, как "пролетарии" чуть не всей Европы, объединяясь, молотили нас, русских пролетариев, и под Москвой в 41-м, и в Сталинграде в 42-м..."

Да и до того ли им теперь, русским людям, россиянам? Объединиться бы в пределах своей страны, почувствовать друг друга не только плечом, но и сердцем, и стать наконец н е т о л п о й, н е н а с е л е н и е м, а н а р о д о м и спасти Россию.

Для этого нужен другой лозунг, а может быть даже — клич. И бросить его тревожно выжидающим людям должна возрождающаяся н а ц и о н а л ь н о й о с н о в е к о м п а р т и я. Ее историческая миссия — найти такие слова, которые бы всколыхнули еще не утративших воли к жизни людей, взволновали до дрожи, как это бывает с каждым

русским, когда взвизывает в небо "Наверх вы, товарищи, все по местам! Последний парад наступает!"

В Великую Отечественную войну такими словами были: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!" В духе этих слов взлетела на могучих крыльях и все четыре года парила над нами, вдохновляя, песня-гимн "Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!"

А сегодня? Какие слова сегодня могут разбудить зомбированный "демократическими" СМИ народ проданной, униженной, обессиленной, растерзанной России? "Россия. Родина. Народ"? Нет, этого мало. Последние выборы — тому доказательство. Не хватает глагола! "Глаголом жги сердца людей!" Помните?

А кроме того, слова "Россия" и "Родина" несут одинаковую смысловую нагрузку. Перефразируя Маяковского, можно написать: мы говорим Россия — подразумеваем Родина; мы говорим Родина — подразумеваем Россия. Зачем же в лозунге-клике, где не только слово, но даже и звук должны быть предельно выверены с точки зрения смысловой и эмоциональной наполненности, а еще и краткости, в числе трех слов ставить два по сути равных по смыслу слова? Не экономно. А главное — малодейственно.

Должны быть найдены такие слова, которые заронили бы в сердце народа на ба т н о е чувство тревоги за судьбу России. Сегодня такое чувство стократ нам необходимей, чем в дни, когда полчища грозных завоевателей стояли у стен Москвы и Ленинграда.

Кто-то, наверное, думает иначе. Я думаю так. И считаю: у меня есть право настаивать на своем мнении. Не столько право ветерана партии, сколько ветерана войны. Партбилет у меня военный: он был вручен мне в сентябре 1942 года, в самые трудные дни Сталинградской битвы, в которой я участвовал в качестве командира Гвардейской отдельной зенитно-артиллерийской батареи.

Скажу честно: не сам я побежал с заявлением к секретарю партбюро — он пришел ко мне. Присели с ним на лафет пушки, и он сказал: "Тебе исполнилось 20 лет. Предлагаю вступить в партию". Ни минуты не колеблясь, я написал заявление. Не потому, что горел желанием "строить коммунизм", — я о нем знал тогда немногим больше, чем вступавшие вместе со мной солдаты — вчерашние оренбургские колхозники, — а просто потому, что не хотел быть хуже других в бою: партийный билет на фронте обязывал в первую очередь к этому.

"Коммунисты, вперед!" — клич этот придуман не А. Межировым, написавшим знаменитое при советской власти стихотворение с таким названием.

Автор его — партия.

Отказаться вступить в партию на фронте означало расписаться в трусости и даже больше — в нелюбви к Отечеству, в безразличии к его судьбе. "Хочу в бой идти коммунистом!" — писали фронтовики в заявлениях. И это означало: "Верьте мне, я не подведу!"

Так вот, по праву ветерана партии и солдата, знающего цену трудной Победе в войне, на вопрос: что должна сказать народу возрождающаяся компартия в сложившейся обстановке, я отвечаю: в первую голову она должна собраться с духом и во всеуслышание, твердо и ясно заявить, что в ее руководстве, особенно в 20—30-е годы, верх брал "интернационал", а по существу антинациональные, антирусские силы, проводившие политику жестокого насилия по отношению к русскому народу — корневому народу страны.

Исходя из кровавого опыта тех лет, партия должна заявить, что в основу государственного строительства отныне должен быть положен естественный и незыблемый принцип: в Русском Доме хозяин — русский человек, ибо слишком дорого обошлись России хозяйствовавшие в ней интернационалисты Бронштейны — и Джугашвили, Берии и Кагановичи...

Возрождаясь на национальной основе, компартия должна заявить, что берет на себя роль всего лишь исполнителя воли народа, защитника его интересов и, значит, интересов России.

И не больше!

Далее. Партия правильно поступит, если внесет полную ясность в события 1991—1993 годов. Нужно разъяснить народу, что ее и СССР предали наследники большевиков-интернационалистов: поняв, что социализм в смысле личной выгоды для них не перспективен, они объявили, что он как идея не оправдал, изжил себя. Прокричав это на площадях столицы, они публично сожгли свои партбилеты, вытерли ноги о Красное Знамя (Знамя Победы!), замазав грязью изображение Серпа и Молота на нем, и сделали это с легким сердцем, потому как ни серпа, ни молота отродясь в руках не держали...

Никто с такой яростью, с таким остервенением не "раздевал", не громил партию, не поливал ее грязью в славное то времечко, как они, вчерашние заводилы ее, любимчики, теоретики и практики, ставя ей в вину и "октябрьский переворот", и "великий

перелом", и "врагов народа" — все, что вдохновлялось и вершилось главенствовавшими в ней интернационалистами — их идейными предшественниками и единоверцами.

Скопом, косяком покидая партию, они ни минуты не сомневались в том, что с их уходом партии не быть: мертвые из гроба не встают!.. Это от их имени было доложено Конгрессу США на эпохально-торжественном заседании, что с коммунизмом в России покончено! Навсегда! Не произнесенными остались только два слова: "Задание выполнено!" Они подразумевались...

И вдруг... и вдруг, как в кошмарном сне, перевертыши увидели, что партия не умерла, что остатки разбитых и разрозненных ее отрядов собрались на поле, "усеянном костями", и начали действовать как самостоятельная, **национально ориентированная** сила. Нервно, с заиканием, они заперешептывались: "Партия — без нас? А если она победит на выборах? Тогда что?!. Нет, этому не бывать!" И начался яростный антикоммунистический, антисоветский шабаш.

Как стая волков, окружившая жертву, они залаяли, заклацали челюстями еще громче, еще злобнее, чем раньше.

Пусть лают!

Возрождающаяся на национальной основе, на идее государственности компартия, по сути **новая партия**, слушая их лай, не должна втягивать голову в плечи. Это поза раба, а не народного заступника и тем более не спасителя Отечества.

Расправив плечи и высоко подняв голову, она должна начать самый честный, без малейших недомолвок разговор с народом о тех, кто его предал и почему.

Она должна **открыть глаза** оглушенному изошренной пропагандой и потому утратившему инстинкт самосохранения нашему народу на великую национальную трагедию, в центре которой он оказался; показать, что над Россией снова занесен меч завоевателя и что этот завоеватель опасней всех предшествующих, потому что сильнее их и хитрее. Он бьет по стенам нашего дома не снаружи, а изнутри, и облик его расплывчат. Нашими холуйскими СМИ он припудрен и подрумянен и величается партнером, а не врагом.

"Партнер" сам и его холуи в Москве хорошо знают: русский народ непобедим, когда он видит врага в лицо. Поле Куликово, Бородинское поле, Сталинград, Прохоровское поле тому подтверждение.

Увидеть сегодняшнего врага в лицо, повторю, могло бы помочь народу в первую очередь телевидение. Могло бы, если б оно было не **"общественным"**, а **национальным**.

Достаточно сказать, что в попечительском совете "ОРТ" так называемую "общественность" представляют банкиры М. Фридман, А. Смоленский, М. Ходорковский, а в совете директоров рядом все с тем же А. Н. Яковлевым — главным архитектором "перестройки" (переворота) и главным "агентом влияния" (газета "Советская Россия") — "новый русский" Б. Березовский ("ЛогоВАЗ"), главный раввин А. Шаевич, писатель В. Астафьев (хотя и не главный, но все же...), — достаточно сказать это, чтобы понять, почему нельзя назвать "ОРТ" национальным и, без кавычек, общественным...

"Где же на "ОРТ" русские патриоты, — писала по этому поводу газета "Завтра", — не "архитекторы", "прорабы" или "апрелевцы", уже разрушившие все, что возможно, уже хапанувшие всюду, где удалось, а настоящие государственники, творцы, созидатели родного Отечества? Нет им здесь места. Это не их телевидение. Это — не наше телевидение".

Газета духовной оппозиции, как всегда, выразилась смело и точно!

Предвижу, что ортодоксально мыслящие коммунисты прервут меня в этом месте: "Все правильно, все так... Но как же быть с коммунизмом? С Марксом? С Лениным?"

Чтобы ответить на этот вопрос, призову на помощь выдающегося ученого современности — социолога и философа Александра Зиновьева — нашего соотечественника, живущего в Германии. Там он оказался не по своей воле — был вынужден покинуть Родину во времена Брежнева. Помню, как на одном из очередных совещаний в ЦК Зимянин как о крупном ЧП сообщил о выходе на Западе книги "перерожденца" и "антисоветчика" А. Зиновьева под взрывным названием "Зияющие высоты". Чувствовалось, что книга больно ударила по руководству КПСС, хотя о ее содержании Зимяниным не было сказано ни слова...

После разгрома СССР, расстрела Верховного Совета, роспуска КПСС Александр Зиновьев (кстати, по рождению из костромских мужиков), ужаснувшись случившимся, встал на сторону патриотов-государственников возрождающейся, новой, по его убеждению, коммунистической партии, начал выступать с глубокими, проникнутыми болью и тревогой за судьбу России статьями в "Правде". Уверен, нет сейчас в России ни одного **мыслящего** о, патриотически настроенного человека, который не читал бы этих статей...

В сентябре нынешнего года он снова (в который раз!) приезжал в Москву. Главный редактор популярной оппозиционной газеты "Завтра" А. Проханов не упустил случая встретиться с выдающимся ученым, взять у него интервью...

Так вот, о Марксе, о его учении наш соотечественник, политолог с мировым именем, в этом интервью рассуждает так: "...рабочий класс в XIX — первой половине XX века был мощный класс, и идеи диктатуры пролетариата и прочие р а б о т а л и, более или менее были адекватны реальности. Теперь в мире после Второй мировой войны произошли колоссальные перемены. Все основные идеи марксизма потеряли смысл. Рабочий класс — это исчезающий класс".

Сообщив, что на Западе рабочий класс уже к 80-м годам составлял всего лишь от 3 до 6 процентов от числа работающих, а в Советском Союзе до 20 процентов, ученый добавил: "...они (современные рабочие. — С. В.) не являются пролетариями, д л я к о т о р ы х п р е д н а з н а ч а л о с ь марксистское учение. Марксизм как идеология утратил актуальность, сыграв свою роль. Он обречен, не имеет шансов".

Я разделяю эту точку зрения. Правильными и весьма важными считаю также и выводы уважаемого мною ученого о "партии Зюганова": "Эта партия, это движение — новые. Я подчеркиваю: это новое явление в посткоммунистической России".

Сообщив, что он много разговаривал с Зюгановым и у него "осталось чрезвычайно хорошее впечатление от разговора", Александр Зиновьев добавил: "Я считаю, что о н п р и ш е л к т е м ж е в ы в о д а м, независимо от меня, но в другой терминологии..." И еще — о Зюганове как лидере: "Я у б е ж д е н, что самая значительная фигура сегодня в политике — это Геннадий Зюганов".

Можно добавить, что этим убеждением прониклись бы многие люди и внутри страны, если б у них была возможность с л ы ш а т ь и в и д е т ь лидера компартии: современные СМИ обладают такой возможностью... Обладать-то они обладают, но предпочитают показывать народу по семь раз на дню киску, которая уплетает "вискас". Насытившись отменно приготовленным блюдом, киска аппетитно облизывается, а глядящие на нее голодные (и голодающие в знак протеста шахтеры и дальневосточные энергетики) глотают слюну и утирают слезы... Это ли не издевательства над народом? Это ли не плевок ему в лицо? Могут возразить: это всего лишь реклама полноценной кошачьей еды. Согласен, реклама... Но накормите сначала народ, а потом рекламируйте еду для кошек. Почему бы вам не дать заодно рекламу и "деликатесов" пенсионеров, безработных, их детей, бомжей — отбросов, которые они добывают, роясь в контейнерах для мусора у подъездов жилищ "новых русских"? Пусть это не столь калорийная еда, как "вискас", но зато бесплатная... Дайте такую рекламу!

И, наконец о том, о чем в "благородном" обществе наших демократов не принято говорить. Засмеют.

Речь о пьянстве и алкоголизме.

Пусть смеются. Рискну.

Начну с того, что смеющихся — меньшинство. Это те, кто наживается на производстве и торговле алкоголем. И те, кто, царствуя, хочет иметь дело с пьяным (а лучше — спившимся) народом: спокойнее, удобнее, проще.

Но плачущих, горюющих — куда больше. Это жены, матери и дети пьяниц и алкоголиков. Если бы собрать все эти слезы — разлилось бы море бескрайнее, в котором смеющихся можно было бы утопить.

Говорю это не с кондачка, не понаслышке. "Наш современник" — единственный из "толстых" журналов в 70—80-х годах сражался с "зеленым змием", пожиравшим все больше и больше своих жертв — алкоголиков, убийц и самоубийц, инфарктников и циррозников... Разоблачительные, грозные для тайных спаивателей народа статьи писателя П. Дудочкина (Тверь), ученого В. Жданова (Академгородок, Новосибирск), академика, лауреата Ленинской премии Ф. Г. Углова (Ленинград) были встречены стонущим народом с радостью и надеждой. Мы убеждались в этом всякий раз, едва свежий номер журнала со статьей того или другого автора расходился по стране. Письма-отклики пачками поступали в редакцию. Неужели власть одумалась? — читалось в этих письмах. — Неужели наши проклятья "зеленому змию" услышаны?

А власть, действительно, начинала понемногу тормозить. Она приняла даже (еще одно) постановление о преодолении пьянства и алкоголизма. Думаю, что статьи наших авторов сыграли тут не последнюю роль: они подтолкнули власть к решительному шагу. А еще больше — подтолкнули письма читателей, опубликованные нами (выборочно, конечно) в нескольких номерах. Гневно, неотразимо били по "смехачам" и "культурпитейщикам" подборки этих писем. Цензура перед ними была бессильна: глас народный! Заглушить его — означало разоблачить себя.

Только круглый дурак мог не видеть и не замечать все ширящееся в о з м у щ е н и е н а р о д а н е г л а с н ы м п о о щ р е н и е м п ь я н с т в а в стране. Поняли это и будущие "демократы", уже тогда рвавшиеся к власти, и, поняв, решили использовать возмущение народа по-своему и, разумеется, в своих коварных целях. Якобы ревностно исполняя постановление, они довели борьбу с пьянством до полнейшего абсурда: бутылку водки их стараниями можно было купить только по талону, отстояв к тому же длинную очередь. Или — втридорога у спекулянтов.

Отдадим должное "демократам": гениальный ход был придуман ими! Антиалкогольная кампания в глазах народа была полностью дискредитирована и его же руками похоронена.

И вот результат. Русскому народу как этносу сегодня грозит вымирание. Это неизбежно произойдет, если потребление спиртного на душу населения достигнет 25 литров в год.

Доказано наукой!

А Россия к этой, последней, черте сегодня подошла вплотную. Она близка была к ней уже в конце 70-х годов, о чем свидетельствовал Петр Дудочкин в своей статье, опубликованной "Нашим современником" в № 8 за 1981 год. 19 литров водки, 7 литров вина, 0,5 литра пива (!) в год на душу населения, не исключая детей, женщин, стариков, было выпито — из цензурных соображений П. Дудочкин написал — "в одном колхозе". С тех пор минуло полтора десятка лет. Потребление алкоголя, особенно в последние десять лет, конечно же, возросло. Для массового, поголовного приобщения населения к алкоголю, особенно студентов и школьников, "демократы" разрешили выпускать в продажу водку стограммовыми полиэтиленовыми стаканчиками. "Гуманно", не правда ли? На бутылку когда там еще наскребет желающий побалдеть выюнош, а на стаканчик он незаметно может и у мамы "позаимствовать"... Какое еще правительство в мире пошло бы на такое... преступление против своего народа?

В результате эдакой вот "отеческой" заботы о здоровье народа средняя продолжительность жизни с 72 лет в 1987 году уменьшилась до 64 лет в 1994 году (у мужчин до 59 — русские мужики не доживают даже до пенсии). Статистических данных за 1995—1996 годы, к сожалению, я не имею. Но уверен, что они ничуть не радостнее...

Разрушается генофонд народа. Катастрофически растет число умственно отсталых детей (дебиллов) и детей-уродов, и это следствие того, что пьют наравне с мужчинами и многие молодые женщины. Пьют и курят.

Никогда за тысячелетнюю историю России Женщина—Мать—Продолжательница рода не оскверняла свое чрево так, как сегодня. А если добавить, что в "эту пору прекрасную" (Н. Некрасов) все шире распространяется и детский алкоголизм, то можно с полным основанием сказать, что мы, русские, сегодня — нация самоубийц.

С высочайшего потребления алкогольным магнатам и ларечникам ("обогащайтесь!") в продаже появились миллионы бутылок поддельной и самодельной водки, коньяков и вин, в том числе зарубежных, от потребления которых в 1992 году погибло (это сугубо официальная статистика) 17000 человек, в 1993-м — 29000, в 1994-м — 36000 ("Правда", 28.02.1995 г.). Сравните, уважаемые читатели, эти потери с потерями в афганской войне (за 10 лет — 11 с небольшим тысяч), и вы поймете, что все это значит. Поймете также, почему смертность в России за годы осчастливившей нас "демократии" значительно превышает рождаемость (за 7 месяцев с начала 1996 года родилось 779,5 тысячи человек, умерло 1 млн. 271,1 тысячи человек) и какой ценой оплачивает народ "курс реформ", то есть движение "вперед", к капитализму.

Что может сделать сегодня КПРФ в неотложном и благородном деле отрезвления народа (читай: спасения его как этноса)?

Много!

Во-первых, она может и должна неотступно, гневно, с цифрами в руках разоблачать преступную политику "демократов", сознательно спаивающих народ, преследующих вождленную цель: довести его до вырождения, до гибели. (Я бы очень хотел, чтобы они оспорили это утверждение.) Только этим можно объяснить, что водка у "демократов" стала одним из самых дешевых продуктов: 10 тысяч рублей пол-литра (3 буханки хлеба). Для сравнения: при коммунистах бутылка стоила 3 рубля 60 копеек (18—20 буханок хлеба).

Правда, есть в продаже водка и дороже (в два, а то и в три с лишним раза!). Ясно, что она не для "простого народа" — у него таких денег нет. Она — для богатых, для "новых русских" (а чаще — нерусских), господ, коим отравы за 10 тысяч не по губе... Можно себе представить, что за химреактивы в бутылках, предназначенных для народных низов, если они в два с лишним раза дешевле н о р м а л ь н о й в о д к и. Представить и спросить "всемерно избранных": как вы себя чувствуете, уважаемые, с точки зрения нравственности, морали, т р а в я (д о б и в а я) обездоленных вами людей таким зельем? И думаете ли вы о том, что вам придется отвечать за преступный обман своих сограждан? Бутылки с этой химией украшены красивыми наклейками: "Русская водка", "Столичная водка", "Московская водка", однако истинное название этой отравы "Этиловая водка", "Сивуха", в лучшем случае — "Сучок", "Самогон"?..

Во-вторых, всеми доступными средствами, в том числе листовками, раз "демократы" не пускают на радио и телевидение, партия коммунистов-государственников вместе с Народно-патриотическим союзом России (НПСР) должна постоянно вести антиалкогольную пропаганду. Народ должен знать, особенно молодежь, что Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) алкоголь признан наркотиком, что употребление его

даже в умеренных дозах оказывает разрушительное действие на мозг, сердце, печень... Снижение средней продолжительности жизни — прямое следствие безудержного, не ограниченного ни законом, ни моралью, ни ценами пьянства и алкоголизма, охватившего Россию после прихода к власти "демократов" — "друзей народа".

Может КПРФ делать хотя бы только это? Может. Но... увы, делать это она не собирается. В ее новой Программе, принятой III съездом КПРФ 22 января 1995 года, о борьбе с пьянством и алкоголизмом — ни слова. Даже в "Программе-минимум" (3-й раздел), обозначившей самые насущные, требующие безотлагательного решения проблемы, — даже ни слова и в ней.

Побоялись руководители КПРФ показаться "смешными" в глазах "демократов", своих идейных противников, вслед за ними признали, видимо, что проблема пьянства и алкоголизма в сложившейся ситуации — дело десятое...

Хотя поверить в это трудно. Скорей всего причина тут в другом: побоялись потерять голоса избирателей. Дескать, давно ли народ доведен был до белого каления пресловутой антиалкогольной кампанией, — не алкоголики одни и пьяницы были недовольны, а весь народ, потому как талон на бутылку отоварить хотелось каждому, даже отроду не употреблявшей бабушке ("пригодится!"), а для этого надо было унизиться до стояния в очереди, а то еще попасть и в свалку у дверей магазина.

Да, какую-то часть голосов избирателей кандидаты от компартии, наверное, потеряли бы, включив в свою программу борьбу с пьянством и алкоголизмом. Но приобрели бы — и я в этом уверен — значительно больше, потому что основная масса народа — даже умеренно пьющие и культурно пьющие — понимает, что повальному пьянству все же должно быть что-то противопоставлено — не обязательно какие-то ограничения или даже сухой закон, — должно быть противопоставлено! Иначе гибель.

Особенно горячо жаждут противостояния пьянству женщины-матери — продолжательницы рода, хранительницы очага. Их намного больше, чем алкающих... Они без колебаний отдали бы голоса кандидатам партии, предложившей народу и с к р е н н ю ю , х о р о ш о п р о д у м а н н у ю , у ч и т ы в а ю щ у ю о б ы ч а и и п р и в ы ч к и народа программу борьбы с пьянством и алкоголизмом.

Уверен: кандидат в президенты от народно-патриотического блока Г. А. Зюганов был бы значительно ближе к победе на выборах, включи он в свою программу о д н и м из главных пунктов в о т р е з в л е н и е Р о с с и и . А может быть, даже и победил бы, резко контрастируя в этом близком и понятном народу деле со своими соперниками.

Козырная карта не была брошена на кон. А жаль...

Забыли руководители нынешней КПРФ наказ основателя коммунистической партии и государства:

"В отличие от капиталистических стран, которые пускают в ход такие вещи, как водку и прочий дурман, мы этого не допустим, потому что, как бы они ни были выгодны для торговли, но они поведут нас назад к капитализму, а не вперед, к коммунизму". (В. И. Ленин. ПСС, т. 43, стр. 326).

Поведут назад... Правильно оценивал ситуацию вождь: привели... Сбылось, оказывается, и это его пророчество. Умный был человек — это я вам говорю, господа "демократы". Гениальный! И вы, пытающиеся сегодня смеяться над ним, сами выглядите ужасно смешными и жалкими карликами...

Он, в отличие от вас, видя огромную опасность в пьянстве, счел необходимым нацелить партию на борьбу с ним и в государственном документе эпохального значения — в плане ГОЭЛРО: "Запрещение потребления алкоголя должно быть проведено и далее в жизнь как безусловно вредное для здоровья человека".

— Чудак: о здоровье человека беспокоился... — нынешние "демократы" только это и могут сказать...

## XXIII

Так каким же было оно, то время, в котором выпало мне заниматься редактированием одного из московских литературных журналов? Еще и еще раз оглядываюсь назад, кружу мыслью и памятью над отшумевшими годами, событиями и лицами и прихожу к выводу, что однозначного ответа на этот вопрос у меня нет.

"Демократы" в оправдание своих слишком р-революционных действий называли это время "застойным" и потому подležавшим взбаламучиванию... Сильное словечко подобрали: "застой"... Произнесешь — и сразу возникает перед глазами заросший травяной дурью и покрытый зеленью пруд — сонное царство лягушек. И надо было, по логике "демократов", "пруд" этот основательно почистить, причем не примитивной русской лопатой, а зарубежным экскаватором. Грабануть этак зубастым его ковшом аж по самому дну и выбросить в отвал все, чем жили до сих пор обитатели "пруда".

Так они представляли себе задачу, стоявшую перед ними, так образно рисовали ее народу, придя к власти. Но у народа память не так коротка, как бы им хотелось. Народ помнит, что в названное ими "застойным" время не так уж все и плохо было: каждый имел работу и при желании мог даже сменить ее на другую; дети у всех учились, причем бесплатно; в любое время дня и ночи можно было вызвать на дом врача (и тоже бесплатно) или прийти в поликлинику самому, получить бюллетень по болезни, а подлечившись, съездить по профсоюзной путевке в дом отдыха, а то и на курорт.

Помнят люди и о том, что почти каждый завод имел свою библиотеку, базу отдыха, профилакторий, а в нем бесплатный кинозал... Библиотеки особенно помнятся людям: СССР был самой читающей страной. Многие тысячи томов насчитывались даже в заводских библиотеках. И что особенно радовало — были в них свежие журналы...

Тут "демократ" ехидно прервет меня: "И была цензура!" — скажет, торжествуя.

Да, цензура была... И даже резче скажу: был партийный диктат, были доблестные его рыцари типа А. Беляева, но... была, черт возьми, и литература! Да еще какая! И как бы вы, господа, ни пытались опорочить ту литературу как продукт "застоя", выбросить ее на свалку истории — ничего у вас не получится.

Литература была! — повторю еще раз. Причем настоящая, поскольку ее переводили на все языки мира. А раз она была — то были и журналы, а у журналов — удивлявшие "культурную" Европу массовые тиражи и миллионы читателей.

Впрочем, можно сказать и наоборот: были читатели — была и литература — спрос рождает предложение. И то и другое являлось одновременно и следствием, и причиной. У писателей был стимул для творчества, было ощущение — его книгу ждут, она будет прочитана, и, значит, идеи, образы, которыми он живет, создавая произведение, будут "работать", помогать становлению человека как общественной личности, развивать его эстетический и художественный вкус.

Литература (в первую очередь — она!) создавала духовную атмосферу общества. Народ читал. Журналы выписывались, книги покупались. Количество личных, домашних, библиотек в России второй половины XX века выросло в сотни, в тысячи раз по сравнению с Россией начала века. Журналы и книги по ценам были доступны каждой семье: наличие домашней библиотеки в городской квартире и в деревенской избе определялось не материальным достатком семьи, а уровнем образования и культуры ее членов. Только этим.

— Но цензура-то все-таки была! — с видом обвинителя прервет меня снова "демократ".

— А разве я сказал, что не было? Была. И я откровенно поведал выше о трудностях, которые испытывал как редактор, пробивая в печать ту или иную рукопись. Но, поскольку вы настойчиво продолжаете козырять этой картой, придется кое-что добавить к сказанному...

Так вот, пожив немного (совсем немного!) в ваше, бесцензурное, время, при провозглашенной вами свободе слова, я убедился, что та цензура, с которой пришлось иметь дело мне, была не больше чем детский лепет по сравнению с цензурой нынешней. С моим цензором можно было о чем-то и договориться, склонить его на компромисс, и далеко не всегда дело оканчивалось вычеркиванием или снятием материала из номера — хватало разумной правки, или, как мы это называли, "ретушировки"... А ведь бывало еще и так, что цензор не замечал "крамольных" строк или делал вид, что не замечал, и на свой страх и риск подписывал номер в печать: встречались цензоры-либералы...

Нынешняя цензура либеральной не бывает.

Предвижу, читатель возмутится: "О какой цензуре вы говорите, если в стране свобода слова и печати?"

Говорю, уважаемый читатель, о б э к о н о м и ч е с к о й ц е н з у р е. При социализме мы о ней и понятия не имели. И потому наглое "буржуйское" мурло этой цензуры так возмущает и унижает нас сегодня.

Цены на бумагу, типографские работы, почтовые услуги "демократическое" правительство, хихикнув в сторону оппозиционных изданий, отпустило на волю, а точнее — спустило с цепи, как собак, и они схватили за горло издателей газет и журналов, в первую очередь оппозиционных, и душат, душат их, не разжимая железных челюстей.

Стоимость подписки на газеты и журналы ф а н т а с т и ч е с к и выросла. Если при советской власти номер "НС" по подписке и в розницу стоил 50 копеек, то цена его сегодня равна 110 тыс. рублей, "Молодой гвардии", "Нового мира" — еще дороже.

И вот результат: число подписчиков на "НС" упало с 470 тыс. до 17 тыс.; на "Молодую гвардию" с 500 тыс. до 8 тыс.; на "Новый мир" с 2 млн. 700 тыс. до 15 тыс.; на "Роман-газету" с 3 млн. до 60 тыс.

Подписка на газеты снизилась еще больше: на "Правду" — с 9 млн. до 270 тыс.; на "Советскую Россию" с 3 млн. до 250 тыс. А "Литгазета", рупор оголтелой "демократии", скатилась с 2 млн. экземпляров до жалких 40 тыс. и готова сегодня отдаться любому "денежному мешку". Правда, в этом унижительном крахе "Литературки" повинны далеко



не одни лишь экономические причины. Лучшая газета духовной оппозиции "Завтра" никак не может перевалить за 100-тысячный рубеж, потому что номер ее дороже номера "Известий", например, в три раза, не говоря уж о других правительственных газетах.

Отсюда вывод: экономическая цензура не запрещает слово, она его убивает! Напечатанное — оно тут же умирает в одиночестве, за тысячи верст от читателей... Поэтому при тиражах, которые сейчас имеют оппозиционные журналы и газеты, можно считать, что их и не существует. "Демократы" так и считают. И что бы ни написала о них оппозиционная "Советская Россия", например, лучшая, на мой взгляд, и подлинно народная газета, они даже бровью не поведут — возразить или опровергнуть и не подумают, потому что возразить — значит привлечь внимание народа к невыгодному для них материалу.

Поэтому — молчат.

А если отвечают, то только косвенно, через телевизор, например, и поручают это дело своему в доску Шендеровичу — новоявленному спецу, который, облысев, все еще в куклы играет. Тем более, что самая любимая кукла у него — этакий добренький, добродушный и ужасно миленький дядя Президент, хорошо поработавший в предвыборную кампанию и немножко после нее приболевший... Ну а коммунистический соловей-разбойник Зюганов, вместо того чтобы потребовать от Думы продления ему бюллетеня еще на год-два, настаивает на создании медицинской комиссии для определения — сможет президент при таком недомогании исполнять многотрудные свои обязанности, или нет...

С эстетической точки зрения куклы Шендеровича ничего, кроме отвращения, у народа не вызывают. Самому Шендеровичу, возможно, и приятно коротать время в обществе омерзительных резиновых дебилов, а зрителям... народу... плакать хочется: до-жи-ли!..

Но смотреть приходится, потому как читать нечего. Кроме разве бесплатных рекламных еженедельников типа "Экстра-М". Эта 100-страничная многоцветная газета выходит в Москве в двух вариантах — для севера и для юга столицы — общим тиражом 6 млн. экземпляров. Все контейнеры для мусора, подъезды, подворотни в Москве завалены "Экстра-М". Абсолютное большинство жильцов нашего дома, выгребаящих из своих почтовых ящиков "Экстру-М", из 100 страниц ее берут только те четыре, на которых печатается программа ТВ на неделю, остальные бросают тут же, не занося в дом.

Сколько можно напечатать журналов и газет на бумаге, истраченной на "Экстру-М", представить трудно, но подсчитать можно.

А зачем они — газеты?... журналы?... книги? — слышится недоуменный вопрос "демократов".

А и верно: зачем? С непросвещенным, темным народом управляться легче... Ну а для тех, кто по старой привычке хочет все-таки все знать, — есть телевизор: вылупи глаза, развесь уши — и сиди, глотай, не жуя, припудренные "вести" и подрумяненные "итоги"... А насытившись, в кривое "зеркало" в грузинской оправе поглядишься...

Позовут после этого высказать мнение: что лучше — зарплата каждый месяц или только два раза в год? — пойдешь и ответишь: два раза в год лучше.

Разве не было уже такого?

\* \* \*

Волею обстоятельств журнал "НС" в 70—80-е годы стал едва ли не самой популярной стартовой площадкой для писателей. Каждый год на его страницах появлялись произведения, удовлетворявшие вкусам даже самых взыскательных читателей. Не поленись, назову (специально для молодых людей) хотя бы некоторые из них. Пусть молодые почитают и убедятся, что нашему поколению есть чем гордиться — если даже иметь в виду только литературу...

Вот они, эти (я обращаюсь только к прозе) произведения:

"Белый Бим Чернов ухо" Г. Троепольского; "Характеры", "Калина красная", "До третьих петухов" В. Шукшина; "Последний срок", "Живи и помни", "Прощание с Матёрой", "Пожар", "Байкал" В. Распутина; "Красное вино победы", "Шопен, соната № 2", "Усыатские шлемоносцы" Евгения Носова; "Пастух и пастушка", "Последний поклон", "Царь-рыба" В. Астафьева; "Берег", "Выбор", "Игра" Ю. Бондарева; "Лад", "Все впереди" В. Белова; "Три мешка сорной пшеницы" В. Тендрякова; "Комиссия" С. Залыгина; "Чистые глаза", "Люблю тебя светло" В. Лихоносова; "Память" В. Чивилихина; "У последней черты", "Честь имею" В. Пикуля; "Это мы, Господи" К. Воробьева; "Алька" и циклы рассказов Ф. Абрамова; "Долгие крики", "Во сне ты горько плакал" Ю. Казакова; "Драчуны" Мих. Алексеева; "Окружение" С. Крутилина; "Фригийские васильки" Георгия Семенова; "Возвращение к земле", "Крестьянский сын", "Земляки" Ивана Васильева; "Морской скорпион" Ф. Искандера; "Белый шаман" Н. Шундика; "Последняя война" В. Рослякова; "Письма из разных мест", "Прекрасная Адыгене" и рассказы Вл. Солоухина; рассказы Ю. Нагибина.

С удовлетворением вспоминаю сегодня я и о тех, кого "НС" за эти же годы о т к р ы л как талантливых писателей и последующими публикациями в в е л в б о л ь ш у ю л и т е р а т у р у. Это в основном парни из русской провинции — подчеркиваю: из провинции! Москва в описываемые годы была скупа на русские таланты. Она почти никого из русских писателей не выносила в своем раздувшемся интернациональном чреве. Даже и те писатели, которые давно уже считались москвичами, по рождению были провинциалами. Выходцами из народа.

И вот что любопытно: ни один из них, пожалуй, не въехал в белокаменную через триумфальную арку, все пробирались в нее глухими переулками и дворами, прошли через трущобы и коммуналки, пока вселились в приличные квартиры, нередко оформив для этого брак с какой-нибудь благополучной в смысле жилья москвичкой.

Но главной улицей в этом деле был все-таки Литературный институт. К концу учебы почти все провинциалы имели уже московскую прописку, московскую жену (мужа) и московскую квартиру. Не будь Литературного института — русских писателей в русской столице было бы намного меньше.

Помню, завел я на секретариате Российского СП разговор о своем намерении бросить журнал, уйти в отставку — дескать, хочу завершить работу над новой поэмой, а времени нет. Юрий Васильевич Бондарев резко возразил: "А кому журнал передашь?" Я ждал вопроса и потому без раздумий ответил: "Распутину, например... Или Белову". — "Но они же не москвичи... Квартиру надо выбивать... А кто ее даст?" — "Центральный Комитет партии — вот кто, Юрий Васильевич!" — ответил я. — Он обязан дать квартиру любому из этих писателей, если они даже просто пожелают переселиться в Москву. А еще правильнее, еще красивее было бы с его стороны — пригласить их переехать в Москву, не дожидаясь, когда они сами попросят об этом. Да, да!.."

Ведь что получается: приезжает писатель из Америки, филолог из Англии — были такие, — приходят в редакцию: "Пожалуйста, устройте нам встречу с Распутиным, Беловым, Евгением Носовым, В. Астафьевым, Г. Тропольским, В. Пикулем..." Отвечаю: "К сожалению, не могу. Все они живут далеко от Москвы, в глубокой провинции..." — "А как к ним проехать?" — "Об этом спросите в своем посольстве..." — отвечаю... Ну что — разве это нормально? Во Франции есть пословица: "Поэты рождаются в провинции — умирают в Париже!.." Французы любят своих поэтов. Разве не делало бы чести руководителю государства личное знакомство, а может быть, даже и дружба с выдающимся писателем?.. Русские цари, кажется, понимали это лучше, чем наши генсеки...

Сказав все это, я предложил подбросить такую идею руководителям партии: "Уверен, она им понравится!.." Однако никто из секретарей к затеянному мной разговору не пристал. Не верили, что Зимянин (а главная роль в этом деле принадлежала бы ему) ухватится за эту идею. Пригласить Распутина, Белова в Москву для него означало бы поставить тяжелую гирию на чашу весов "русской партии" (я однажды уже говорил, что бытовало в ЦК, по крайней мере в идеологических отделах, такое выражение). Поставить гирию и, значит, усилить "русскую партию". И ослабить... не знаю, какую. Интернациональную, наверно.

Этого Зимянин не мог допустить. Он о б я з а н был строго следить за тем, чтобы в противостоянии этих двух партий сохранялось относительное равновесие. И, конечно, заблуждался, считая, что оно существует. "Русская партия" (в символическом смысле, конечно) была разбросана (впрочем, почему "была"? И сейчас — тоже) по городам и весям России. Голос ее в русской столице почти не был слышен.

Не в Москве росли и мужали, как я уже сказал выше, и открытые журналом молодые таланты... И слава Богу, что не в Москве. Не было бы в их творениях той "кондовости", крепости русских характеров, тех устоявшихся и потому привлекательных народных обычаев, той народной нравственности, того любования л а д о м народной жизни, которыми, помню, поразили меня первые рукописи Сергея Алексеева из Вологды, Владимира Мазаева из Кемерово, Бориса Екимова из Калача, что в Волгоградской области, Виктора Потанина из Кургана, Петра Краснова из Оренбурга, Леонида Фролова из Костромы, Михаила Щукина из Новосибирска, Вячеслава Шугаева из Иркутска. Да всех и не перечести!

Напечатавшись первый раз в "НС", молодые писатели, что называется, расправляли крылья и устремлялись к новым творческим вершинам уже на полном размахе этих крыльев, вдохновенно и уверенно. Особенно стремительным был полет молодого Сергея Алексеева. В 1985 году он принес нам первый свой роман "Слово", и мы его сразу же напечатали, изменив, правда, название. У него на титульном листе значилось: "Хождение за словом". Мне это "хождение" решительно не понравилось. "Так можно назвать фольклорный очерк, но не роман, — убеждал я молодого автора. — Предлагаю другое название: просто "Слово!"

Сергей согласился. И даже, кажется, обрадовался столь неожиданной находке. Читателям оно тоже пришлось по душе. А позже писатель Арсений Ларионов такое название ("Слово") дал даже редактируемому им журналу. И оно сразу же приподняло журнал в глазах любителей словесности, сделало его одним из самых популярных.

Через год С. Алексеев принес в "НС" новый роман — "Рой". Я усомнился было в такой "скорострельности", но, прочитав рукопись, понял: зря. Роман пошел в набор... Третий роман — "Крамола" — Алексеев завершил через три года. Мы его напечатали в 1989 году. К сожалению, у меня нет возможности хотя бы коротко напомнить читателям о содержании этих романов. Скажу только, что все они отличались поразительной широтой и глубиной художественного раскрытия народной жизни, народных характеров, вполне сложившимся мировоззрением автора, как, впрочем, повести и рассказы печатавшихся рядом с ним и других м о л о д ы х п р о в и н ц и а л о в.

\* \* \*

Утверждая, что в советское время большая литература все-таки была, я отнюдь не собираюсь спорить с теми, кто говорит, что наряду с нею была литература и низкопробная, а с идейной точки зрения — конъюнктурная, как дань запретительству, партийному диктату, социалистическому реализму.

Кстати, о соцреализме... Этой "меркой" в 70—80-е годы, по моим наблюдениям, пользовались в основном литературоведы-талмудисты, писавшие диссертации и учебники; реже — литературные критики; а среди писателей разве только откровенные конъюнктурщики. За два десятка лет моей работы в журнале слова "социалистический реализм" не были произнесены мною ни разу в качестве критерия в оценке той или иной рукописи.

Это зарубежным "знатокам" нашей литературной жизни казалось, что советские писатели, водя пером по бумаге, только о том и думают, как бы не вывалиться нечаянно за рамки соцреализма... Чепуха! Писатели просто писали, держа в голове главную заботу: художественность и народность. Книги самых талантливых из них отличались яркостью и типичностью характеров, глубоким психологизмом, богатством и образностью языка, оригинальностью стили. Ну и, конечно, и д е й н о с т ь ю, находившей выражение в патриотических чувствах, в торжестве добра над злом, в духовности и высокой нравственности в противовес цинизму и разврату...

Уверен: не соцреализм как творческий метод, который якобы "портит" советскую литературу, не он раздражал западных критиков, читавших наши книги, а именно их идейность! Это стало понятно особенно теперь, когда о н и получили возможность не только рассуждать на расстоянии о книгах современных русских и русскоязычных писателей, но и присуждать им с в о и премии. И они, премии эти, красноречиво свидетельствуют о том, чего они от нас больше всего хотят: прежде всего — б е з ы д е й н о с т и и б е з н а ц и о н а л ь н о с т и! Хотят, чтобы в наших книгах не было ни малейших намеков на патриотизм, на гордость содеянным, на необходимость пробуждения национального сознания, тревоги и боли за свою вчера еще великую страну, а сегодня — полуколонию... на грани развала.

Надо прямо сказать, нашлись и среди нас писатели, которые сразу же схватили и глубоко заглотили протухшую наживку безыдейности, "искусства для искусства". Ничемно и жалко выглядят их сочинения на фоне грозных событий, происходящих сегодня в России и вокруг нее. Шуршание "зелененьких", отсчитываемых букерами и соросами, заглушило в сердцах этих писателей горький плач голодных детей, чьи родители — труженики подземелья — по полгода не получают зарплату, громкое молчание объявивших голодовку протеста энергетиков Приморья, московских метростроевцев, гневные речи бастующих учителей, работников культуры и даже... столичных академиков. Не услышали эти писатели даже выстрелов офицеров-самоубийц, тоже не имевших чем кормить семью; не услышали воплей русских женщин над могилами сыновей и мужей, погибших (в мирное время!) на войне.

Букеры и Соросы тратятся не зря: все реже появляются на страницах журналов произведения о "героях нашего времени" — о тех, кто, вывернувшись наизнанку, предал и продал Россию и свою партию и теперь жиреет, грабя народ; о тех, кто смирился, сник и, глотая голодную слюну, плаксиво тянет презренную песенку обывателя: "Теперь уж что будет — то и будет..." А главное — о тех, в ком клокочет дух сопротивления и боль за Россию.